



АЛЕКСАНДР  
КУПРИН

БЕЛЫЙ  
СНЕГ РОССИИ

КОЛЛЕКЦИОННОЕ  
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ  
ИЗДАНИЕ

Коллекционное иллюстрированное издание

Александр Куприн  
**Белый снег России**

«Алисторус»

УДК 82-31  
ББК 83.3

**Куприн А. И.**

Белый снег России / А. И. Куприн — «Алисторус»,  
— (Коллекционное иллюстрированное издание)

ISBN 978-5-907332-33-1

В книгу вошли художественные произведения, созданные писателем в эмиграции, в которых выражена тоска автора по Родине, уверенность в ее былом величии. Содержание и стиль романов, повестей, рассказов, очерков Куприна, созданных на чужбине, отличаются от произведений, написанных в России, в них звучат тоска и чувство обреченности. «Есть, конечно, писатели такие, – говорил Куприн, – что их жить хоть на Мадагаскар посылай на вечное поселение – они и там будут писать роман за романом. А мне все надо родное, всякое – хорошее, плохое – только родное. Я готов пойти в Москву пешком».

УДК 82-31

ББК 83.3

ISBN 978-5-907332-33-1

© Куприн А. И.  
© Алисторус

## Содержание

Об авторе	7
Родина	21
Однорукий комендант	23
Купол св. Исаакия Далматского	33
I. Хорошая осень	33
II. Красная Армия	36
III. Смерть и радость	39
IV. Яша	42
V. Тяжелая артиллерия	44
VI. «Дома ль маменька твоя»	46
VII. Шведы	49
VIII. Широкие души	52
IX. Разведчик Суворов	55
X. Хромой черт	58
XI. Обрывки	61
XII. Газета	63
XIII. Красные уши	66
XIV. Немножко истории	68
XV. Партизанский дух	70
XVI. Лунатики	72
XVII. Купол св. Исаакия Далматского	75
XVIII. Отступление	78
Ю-ю	81
Тень Наполеона	88
Конец ознакомительного фрагмента.	90

# Александр Куприн Белый снег России

*Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям*



© Вострышев М.И., состав, предисловие, комментарии, 2020  
© ООО «Русская книга», 2020  
© ООО «Издательство Родина», 2020

## Об авторе

Александр Иванович Куприн родился 26 августа (7 сентября) 1870 года в уездном городе Наровчате Пензенской губернии (в 1981 году в Наровчате открыли Дом-музей А.И. Куприна). Его отец Иван Иванович Куприн служил в чине коллежского регистратора письмоводителем в канцелярии мирового посредника, но 19 октября 1869 года по собственному прошению уволен в отставку без повышения в чине и без пенсии. Он скончался в возрасте 37 лет от холеры 22 августа 1871 года, когда Александру еще не исполнилось и года. Мать, Любовь Алексеевна, происходившая из древнего, но оскудевшего рода татарских князей Кулунчаковых, осталась почти без средств существования с двумя дочерьми (десятилетней Софьей и семилетней Зинаидой) и годовалым сыном Сашей. В 1874 году она переехала с детьми в Москву, где вместе с сыном поселилась во Вдовьем доме в Кудрине (его атмосферу Куприн воспроизвел в рассказе «Святая ложь»), а дочерей устроила в казенные закрытые учебные заведения.

Куприн рассказывал своей первой жене: «Я очень рано привык к тому, что я некрасив. В гостях я постоянно слышал об этом от бонн, прислуги и старших детей. Так же очень рано я понял и то, что я беден. Мать шила мне костюмчики из своих старых юбок, шила она их неумело, и они безобразным мешком висели на мне. Притом она делала их еще и на вырост. Я казался в них неуклюжим и неловким. Дети недружелюбно критически осматривали меня. Бедность рано изоощряет детскую наблюдательность. Каждый косою иронический взгляд меня болезненно колот. Я стыдился своего платья, своей наружности».

С лета 1876 года Александр воспитывался в Александровском сиротском училище (Разумовский пансион). Тридцать лет спустя он напишет: «Там классные дамы, озлобленные девы, все страдавшие флюсом, насаждали в нас почтение к благодетельному начальству, взаимное подглядывание и наушничество, зависть к любимчикам и – главное – тишайшее поведение».

В августе 1880 года он выдержал экзамен и поступил во Вторую московскую военную гимназию. Два года спустя она была преобразована в кадетский корпус, по окончании которого Александр в начале сентября 1888 года был направлен для продолжения обучения в московское Третье Александровское военное училище.

С детских лет Куприн имел характер энергичного и предприимчивого лидера, обладал силой воображения и фантазии. Он рано проявил интерес к художественной литературе, начал сочинять стихи, в 19 лет стал автором первого опубликованного рассказа «Последний дебют» («Русский сатирический листок», 3 декабря 1889 года). Его сюжетом послужил известный факт самоубийства провинциальной актрисы Е.П. Кадминой. Публикация повлекла за собой наказание гауптвахтой, поскольку учащиеся не имели права самовольно сотрудничать с печатными изданиями. Но азарт к литературному творчеству теперь уже невозможно было остановить.

Окончив Александровское училище в августе 1890 году, юнкер Куприн был произведен в подпоручики и начал военную службу в 46-м пехотном Днепровском полку, расположенном в городке Проскурове Подольской губернии, неподалеку от границы с Австрией. Солдатская муштра, офицерские попойки и полное отсутствие духовной жизни в захолустье могли породить только уныние. Вместо привычной в училище жизни в коллективе, среди товарищей, наступает одиночество. Отрадой было лишь то, что Куприн продолжает писать и публиковать рассказы, посвященные, главным образом, армейскому быту. Летом 1893 года в журнале «Русское богатство» появилась его первая повесть «Впотьмах» – своеобразный гимн пессимизму, безверию в возможность существования счастливой жизни. Любовь оказалась лишь выдумкой, и ее итог – нервное истощение.

Тем же летом 1893 года Куприн приехал в Петербург поступать в Академию Генерального штаба, но экзамена не сдал. Надежды на скорую и блистательную военную карьеру

исчезли. Позже Куприн любил рассказывать, что его не приняли в академию из-за драки с полицейскими чинами, учиненной им по дороге в Петербург – в Киеве. Скорее всего, он лукавил.

Летом 1894 года в чине поручика 24-летний Куприн вышел в отставку. На первых порах он поселился в Киеве, публикует мелкие заметки и рассказы не только в киевской прессе, но и в газетах Житомира, Самары, Ростова-на-Дону, Новочеркаска, Одессы – городах, которые часто посещает. Не получив никакой гражданской профессии, он зарабатывает на жизнь, временно устраиваясь грузчиком, кладовщиком, лесным объездчиком, землемером, корректором, псаломщиком, даже попытался освоить профессию зубного врача. Обладая удивительной наблюдательностью и отличной памятью, он впитывает в себя уникальные знания об особенностях профессий и психологии людей, что послужило источником дальнейшего творчества.

Правда, эмигрантский писатель Марк Алданов (кстати, в жизни редко встречавшийся с Куприным) считал утверждение, что Александр Иванович подрабатывал физическим трудом, «развесистой клюквой», уверяя, что он зарабатывал на жизнь исключительно литературной работой. Во всяком случае, Куприн пишет много, но за гроши, и часто разъезжает по России. Из-за недостатка культуры и литературных навыков его очерки и рассказы нередко оказываются традиционной душещипательной мелодрамой, изобилующей газетными штампами. В 1901 году он сам высмеял свое раннее творчество в очерке «По заказу».

Хотя Куприну и не хватало культуры, но у него был особый талант. Д.Н. Мамин-Сибиряк говорил: «А вот Куприн. Почему он большой писатель? Да потому, что он – живой. Живой он, в каждой мелочи жизни. У него один маленький штришок – готово: вот он весь тут, Иван Иванович... Кстати, он, знаете, имеет привычку настоящим образом, по-собачьи, обнюхивать людей. Многие, в особенности дамы, обижаются. Господь с ними, если Куприну это нужно». Тоже подметила Н.А. Тэффи: «Вы обратите внимание, как он всегда принюхивается к людям! Потянет носом, и конец – знает, что это за человек». Надо заметить, что и в описаниях природы у Куприна на первом месте – запахи.

В последние годы XIX века Куприн часто меняет место своего жительства – Ялта, Одесса, Сумы, Таганрог, Москва, Коломна, село Луховицы Зарайского уезда Рязанской губернии, снова Ялта... Скитания приносят жизненный опыт, но отнюдь не материальное благополучие. Да и беллетристика отставного поручика далека от совершенства, в своем подавляющем большинстве это искусственные сюжеты, посвященные сумрачным болезненным «загадкам» жизни и смерти, в которых постоянно звучит надрывный пессимистический сентиментальный тон повествования. Такова и его книга «Миниатюры», изданная в Киеве в 1897 году. Гораздо удачнее оказался сборник очерков «Киевские типы» (1-е издание – Киев, 1896, 2-е издание – Петербург, 1902), в которых проявилось мастерство художественной типизации, изображены характерные черты городских жителей различных профессий.

Наиболее удачным произведением Куприна 1890-х годов называют повесть «Молох», напечатанной в декабрьской книжке журнала «Русское богатство» за 1896 год, где показана жизнь рабочих металлургического завода. В повести прозвучали острое недовольство автора социальной действительностью, поклонению золотому тельцу и пошлости современной цивилизации.

В конце 1890-х годов появляется и другая замечательная сторона таланта писателя – умение изображать величие дикой природы, ее благодатное воздействие на человека (повесть «Олеся», рассказы «В лесной глуши», «На глухарей»).

В мае 1897 года Куприн знакомится с И.А. Буниным, в 1900 году – с А.П. Чеховым, осенью в 1902 года – с М. Горьким. Бунин и Горький стали для него друзьями, Чехов – учителем.

В конце ноября 1901 года Куприн вместе с Буниным приехал в Петербург, где стал заведовать беллетристическим отделом популярного «Журнала для всех», затем перешел на ту же

должность в журнал «Мир Божий». Как ни странно, в этом журнале с религиозным названием печатались, в основном, марксисты (социал-демократы), не верящие ни в бога, ни в черта..

В начале февраля 1902 года Куприн обвенчался с Марией Карловной Давыдовой, приемной дочерью владелицы журнала «Мир Божий» и покойного директора Петербургской консерватории. У них 3 января 1903 года родилась дочь Лидия. Семейная жизнь шла с переменным успехом – муж время от времени запивал, попадал в неприятные истории, а жена выручала его из полицейского участка и спасала от суда.

Журнальные иллюстраторы наперебой публиковали карикатуры на разгулявшегося Куприна, в петербургских салонах пересказывали стишок:

Водочка откупорена,  
Плещется в графине.  
Не позвать ли Куприна  
По этой причине?

Но он умел не только прикладываться к водочке, но и работать. Куприн с 1902 года входит в круг литераторов издательства «Знание», где главной фигурой был М. Горький. Александр Иванович печатает в журналах свои рассказы и очерки, которые вызывают значительный интерес, как у читателей, так и у литературных критиков: «В цирке» (1902), «Болото» (1902), «Трус» (1903), «Белый пудель» (1904) и другие.

В 1900 году Куприн опубликовал автобиографическую повесть «На переломе (Кадеты)», написанную под впечатлением учебы в кадетском корпусе, в которой изобразил, как калечат детскую душу нравы военной школы.

Тема армейской провинциальной жизни была знакома Куприну лучше других. И он обличал во многих своих произведениях то плохое, что присутствовало в повседневном военном быту, особенно в глухом захолустье, где сам служил подпоручиком. Это ему злбно припомнили в эмиграции белогвардейские офицеры, ностальгически воспевавшие российские военные порядки накануне крушения монархии.

В 1904 году Куприн живет на даче в городке Балаклава под Севастополем. Он пишет жене: «Нигде во всей России, – а я порядочно ее изъездил по всем направлениям, – нигде я не слушал такой глубокой, полной, совершенной тишины, как в Балаклаве... Тишина не нарушается ни одним звуком человеческого жилья. Изредка, раз в минуту, едва расслышишь, как хлопнет маленькая волна о камень набережной. И этот одинокий мелодичный звук еще более углубляет, еще более настораживает тишину. Слышишь, как размеренными толчками шумит кровь у тебя в ушах. Скрипнула лодка на своем канате. И опять тихо. Чувствуешь, как ночь и молчание слились в одном черном объятии».

Куприн трудится здесь над очередным художественным произведением. Правда, его «стиль работы» резко отличается от литературного труда большинства талантливых писателей. Ф.Ф. Фидлер, встретивший его в Балаклаве 26 ноября 1904 года, записал свои впечатления:

«На мой вопрос, чем он занимается, Куприн ответил:

– Пью, развратничаю, пишу.

– Как же ты можешь при этом писать?

– Могу! Обливаюсь холодной водой и пишу. Сейчас пишу повесть – ого! Когда она появится, это будет для публики как винт в задницу. Четыре листа готовы<sup>1</sup>, осталось написать еще шесть. Я напишу их здесь.

– А долго ты здесь пробудешь?

– Еще месяц!

---

<sup>1</sup> Лист составлял 16 книжных страниц.

– Ты хочешь написать за месяц шесть листов?

– Я могу писать по листу в день».

Продолжением цикла произведений из военного быта стала написанная, в основном, в Балаклаве и опубликованная в мае 1905 года в шестой книге сборника «Знание» повесть «Поединок», основанная на воспоминаниях автора о своей службе в 46-м Днепровском полку. В ней чувствуется сильное влияние на автора М. Горькому, которому и было посвящено произведение. Оно было встречено читателями как злободневная публицистика, бичующая современное государственное устройство, отчего и стала популярной в объятой революцией России. Автор напихал в нее все модные течения своего времени – толстовство, анархизм, нищенство, эсеровщину. Известность Куприна резко взметнулась вверх.

Теперь он все чаще пишет статьи – отклики на текущие политические события первой русской революции и ее последствий. Появляются также благосклонно принятые читателями и критиками рассказы «Штабс-капитан Рыбников» (1906), «Река жизни» (1907), «Гамбринус» (1907).

В 1905 году писатель поддержал восстание лейтенанта Шмидта в Севастополе, с которым познакомился лично. На тот момент Куприн проживал в Балаклаве. Он активно выступал в поддержку восставших и даже помог скрыться от расправы матросам крейсера «Очаков». После выхода очерка Куприна «Севастопольские события» командующий Черноморским флотом и портов Черного моря вице-адмирал Г.П. Чухнин отдал приказ о выселении революционно настроенного писателя из пределов Севастопольского градоначальства и заведении на него уголовного дела.

В конце декабря 1905 года Куприн вернулся в Петербург. Корней Чуковский, посетивший его с целью выпросить статью для своего сатирического журнала «Сигнал», вспоминал: «Куприн мне очень понравился. Так как он пьянствует, то жена поселила его не в своей квартире, а в другой – специально для этой цели предназначенной. В особнячке, куда можно пройти через кухню Марьи Карловны. Там – обрюзгший, жирный, хрипящий – живет этот великий человек, получая из хозяйской кухни – чай, обед, ужин».

Несколько по-иному Корней Иванович описал Куприна в воспоминаниях для широкого читателя: «В то время Александр Иванович производил впечатление человека даже чрезмерно здорового: шея у него была бычья, грудь и спина – как у грузчика; коренастый, широкоплечий, он легко поднимал за переднюю ножку очень тяжелое старинное кресло. Ни галстук, ни интеллигентский пиджак не шли к его мускулистой фигуре: в пиджаке он был похож на кузнеца, вырядившего по случаю праздника. Лицо у него было широкое, нос как будто чуть-чуть перебитый, глаза узкие, спокойные, вечно прищуренные – неутомимые и хваткие глаза, впитывавшие в себя всякую мелочь окружающий жизни».

В январе 1907 году Куприн отправился «подлечить нервы», а скорее спрятаться от собутельников, в Финляндию. Здесь он прочитал десять томов Дюма-отца и семь томов Гюго и написал лишь путевые заметки «Немного о Финляндии». Сопровождала 36-летнего писателя в поездке 25-летняя Лиза Гейнрих, младшая сестра гражданской жены писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка.

Вернувшись в феврале 1907 года в Петербург, Куприн окончательно расстался с первой женой, да последние два-три года они и не жили вместе, окончательно рассорившись из-за бурных загулов мужа. В письме дочери Лидии в 1921 году Мария Карловна попыталась объяснить причину их семейного разлада: «Я очень любила твоего отца, Лидинька, и решиться разойтись с ним было очень трудно... Я порвала с ним, и это было лучше для нас обоих, потому что каждый устроил свою дальнейшую жизнь по-своему, и мы перестали, наконец, мучить друг друга с ожесточением, на которое способны только страстно любящие люди».

В марте 1907 года гражданской женой Куприна становится Елизавета Морицовна Гейнрих (любовный роман с ней начался еще летом 1906 года). В 1908 году у них родилась дочь

Аксинья (Ксения), год спустя вторая – Зинаида. Через месяц после получения развода с первой женой, 16 августа 1909 года Александр Иванович и Елизавета Морицовна обвенчались. Однако и после развода Мария Карловна осталась другом писателя, и они не прекращали переписки даже после того, как он покинул родину, а она осталась в советской России.

На 70-м году жизни 14 июня 1910 года скончалась мать Куприна (похоронена в Москве на Ваганьковском кладбище), женщина, по свидетельствам современников, энергичная и волевая, сумевшая, несмотря на собственную нищету, вырастить и дать образованием и дочерям, и сыну. Сын горевал об ее утрате и вспоминал, что она обладали редким «инстинктивным вкусом» и тонкой наблюдательностью. «Расскажешь ли, или прочтешь ей что-нибудь, она непременно выскажет свое мнение в метком, сильном, характерном слове. Откуда только она брала такие слова? Сколько раз я обкрадывал ее, вставляя в свои рассказы ее слова и выражения...»

Первой жене щедрый, но отнюдь не богатый Куприн оставил домик в Балаклаве и право на гонорары от всех своих произведений, написанных до 1907 года, когда они расстались. Сам же с молодой женой вел кочевой образ жизни, сменяя Петербург на Житомир, потом на Одессу, опять на Петербург. Но, в конце концов, переезды утомили, надо было остепениться...

Куприн часто летом подолгу гостил у своего товарища художника Павла Щербова в Гатчине. Этот городок под Петербургом ему нравился, и в мае 1911 года он покупает здесь на Елизаветинской улице в рассрочку на четыре года деревянный домик в пять комнат с земельным участком. Александр Иванович, считавший садоводство своим вторым призванием, с жадностью принялся благоустраивать дачный участок, копать в земле. Позже он с гордостью рассказывал знакомым, сколько ежегодно собирает пудов картофеля, репы и «египетской свеклы» со своего огорода. Появились хозяйственные пристройки, развели гусей и кур.

Дочь Ксения вспоминала: «Летом отец часто уходил писать в сад, в самый тенистый уголок. Там густо росли деревья, тополя, ели, рябина, сирень. Посредине маленького пятачка стоял врытый в землю грибовидный стол из толстого сруба и полукруглая скамейка. Там, запасшись холодным квасом, отец часами просиживал вместе со своим стенографом Комаровым. В дождливую погоду они устраивались на террасе. Когда отец работал, весь дом замирал, кажется, даже собаки переставали лаять. Зимой он запирался в своем кабинете, где ходил взад и вперед по диагонали, из угла в угол, быстро диктуя. Он также любил работать ночью один за своим огромным письменным столом из белого ясеня»

Конечно, жизнелюбивый Куприн не забывал и развлечений. С местным священником отцом Александром нередко за полночь засиживался за преферансом, любил с удочкой ходить на целый день на речку, частенько пропускал несколько рюмочек водки в единственной местной харчевне вместе с ее хозяевами братьями Варевкиными, часами мог играть с многочисленными домашними животными – кошками, собаками и даже с курицами или козами, участвовал в гатчинских любительских спектаклях... Вдруг Куприну надоедала эта однообразная жизнь, тогда он срывался с места и пропадал неделю в чаду петербургской литературной и артистической богемы.

В Гатчине к Куприным часто заезжали гости – знакомые литераторы, архитекторы, художники. Один из них, поэт Саша Черный, вспоминал в 1926 году о праздновании Пасхи в революционной Гатчине у Куприна:

Из мглы всплывает ярко  
Далекая весна:  
Тишь Гатчинская парка  
И домик Куприна.  
Пасхальная неделя —  
Беспечных дней кольцо.  
Зеленый пух апреля,

Скрипучее крыльцо...  
Нас встретил дом уютом  
Веселых голосов  
И пушечным салютом  
Двух сенбернарских псов.  
Хозяин в тюбетейке,  
Приземистый, как дуб,  
Подводит нас к индейке  
Склонившей набок чуб...  
Он сам похож на гостя  
В своем жилие простом...  
Какой-то дядя Костя  
Бьет в клавиши перстом...

Гатчинский купринский дом 1913 года описал журналист Н.К. Вержбицкий: «В кабинете все просто и скромно. На окнах стоят цветы и висят лиловые занавески. Они придают комнате ласковое освещение. На сосновом, гладко выструганном простой плотницей работы столе (Куприн всюду, где бы он ни жил, заказывал себе для работы такие “немудрящие”, простые, с тяжелыми верхними досками столы) – старинная фарфоровая чернильница, стопка книг, приготовленных для чтения, и справа – фотографический портрет с размашистой надписью внизу: “Александру Ивановичу Куприну – Лев Толстой”. По стенам развешены офорты и акварели – подарки знакомых художников... В углу купринского кабинета – украшенный резьбой оливковый ящик, где в виде небольшой библиотечки собраны переводы “Поединка” – по-испански, по-польски, по-итальянски, по-чешски, по-французски, по-английски, по-японски, по-немецки... всего около двадцати томов. В специальном ящике у Куприна находятся “человеческие документы” – письма, на которые он всегда аккуратно отвечает, считая, что каждый писатель до тех пор нужен своей стране, пока с ним переписывается и о нем думает массовый читатель. Убранство кабинета дополняет большой темно-красный хоросанский ковер, разостланный на полу».

Нередким гостем в Гатчине была и дочь Александра Ивановича от первого брака Лида. Отец ее очень любил и переживал, когда она надолго пропадала. Отчим ее, Николай Иванович Иорданский, социал-демократ, примыкавший в дореволюционные годы сначала к меньшевикам, потом к большевикам, в 1923–1924 годах служил дипломатическим представителем СССР в Италии, затем до своей кончины в 1928 году работал в Госиздате. Лида скончалась в 1924 году, а мать ее Мария Карловна Куприна-Иорданская – в 1966 году...

В начале 1912 года Куприна посетило очередное горе – умерла от воспаления легких младшая дочь Зинаида. Вскоре после этого печального события (в апреле) Куприн с женой и четырехлетней дочерью Ксенией отправился в свое первое заграничное путешествие – на юг Франции и в Италию. Впечатления от четырехмесячного путешествия легли в основу путевых очерков «Лазурные берега». Приглашал их к себе на Капри и М. Горький, но они не смогли захватить, о чем Куприн сообщил ему письмом: «Дорогой Алексей Максимович! Верьте, не верьте, а я только потому не приехал к Вам, что у нас на троих было ровно два франка и 50 сант. Теперь дела поправились...»

Любитель всего необычного, отчаянного, Куприн вместе с летчиком Сергеем Уточкиным поднимается в небо на воздушном шаре, с борцом и летчиком Иваном Заикиным совершает полет на аэроплане, опускался также и как водолаз в глубины моря.

Творчество писателя становится все разнообразнее, он создает ряд высокохудожественных произведений. Среди них повести о романтической любви «Суламифь» (1908) и «Гранатовый браслет» (1911), очерки и рассказы о рыбаках, военных летчиках, путевые заметки,

рассказы о животных, цикл лирико-философских миниатюр, напоминающих стихотворения в прозе. В новом для него жанре написана научно-фантастическая повесть «Жидкое солнце» (1913).

Долго и мучительно рождалась повесть «Яма» (первую часть он опубликовал в 1909 году, а заключительную – в 1915 году), в которой автор описывает жизнь провинциального публичного дома. Писатель стремился обратить внимание общества на язвы стремительно развивающейся проституции. «К сожалению, перо мое слабо, – признавался Куприн по окончании работы над повестью, – я только пытался правильно осветить жизнь проституток и показать людям, что нельзя к ним относиться так, как относились до сих пор».

В 1912 году в издательстве А.Ф. Маркса выходит «Полное собрание сочинений» Куприна в восьми томах. Девятый том с окончанием «Ямы» вышел в 1915 году.

В начале 1-й мировой войны писатель занимает патриотическую позицию, В своем гатчинском доме Куприны открывают небольшой госпиталь на десять коек для раненых солдат. За ними ухаживала Елизавета Морицовна, семилетней Ксении тоже сшили платье сестры милосердия, и она приходила к солдатам рассказывать им сказки и играть с ними в шашки.

Куприн в очерке «О войне» описывает те же пороки у немцев, что в повести «Поединок» подметил десятью годами раньше у своих соотечественников: «Пропасть между прусским офицером и его солдатом стала огромной, и связи подчиненного с начальником в германской армии, кроме кулака, нет решительно никакой. Там офицерство обращается с солдатами, как со скотами...»

Куприн в октябре 1914 года возвращается в армию, некоторое время в Финляндии он командует ротой и занимается обучением ополченцев. В апреле 1915 года Александр Иванович попал в госпиталь из-за осложнений с сердцем и вскоре демобилизуется по состоянию здоровья. Он возвращается в Гатчину. Его не отпускают мысли о скорой победе русского духа над немецкой машиной: «Да, мы победим, и не потому только, что мы сильнее духом немцев, но оттого, что немцы сошли с ума и сохранили при этом логическое мышление, направленное исключительно на увеличение количества пушек и жертв. Писать об этой войне я не могу, ибо происходящее огромнее и неизмеримее всяких творческих вымыслов, и никакая писательская фантазия не сможет преодолеть той правды боевой, что происходит там...»

Из-за заражений тифом гатчинский лазарет пришлось закрыть на карантин, и больше он не возобновлял работу. Несмотря на тяготы войны, в 1916 году семья супруги Куприны вместе с дочкой побывали на Кавказе, где Александр Иванович выступал с патриотическими лекциями, перемежающимися с рассказами о русской литературе.

Февральскую революцию 1917 года Куприн приветствовал, хотя и с большим «но»... Его потряс своим безумием на фоне не прекращающейся войны с немцами Приказ № 1 Петросовета от 1 марта 1917 года о введение в армии выборных комитетов, равенстве прав нижних чинов и офицеров и ряд других «демократических реформ».

В течение нескольких месяцев он сотрудничает с петроградскими газетами «Свободная Россия», «Вольность», «Петроградский листок», симпатизируя политическим взглядам эсеров и гневно обличая произвол царского самодержавия. Одновременно заканчивает работу над повестью «Звезда Соломона», в которой творчески переработал классический сюжет о Фаусте и Мефистофеле, поднял вопрос о свободе воли и роли случая в человеческой судьбе.

Более сдержанно Куприн встретил Октябрьскую революцию. Написал даже статью в защиту младшего брата свергнутого императора Николая II, великого князя Михаила Александровича, в которой пытался доказать, что, в отличие от других великих князей, он – хороший человек, и у него отсутствуют наследственные черты характера царской династии Романовых. Следственная комиссия большевиков за «публичное восхваление личности Михаила Александровича» и подготовку почвы «для восстановления в России монархии» постановила привлечь Куприна к уголовной ответственности. У писателя 1 июля 1918 года был произве-

ден обыск, и его заключили под стражу. Проведя двое суток в одиночной камере Выборгской тюрьмы «Крест», он был оправдан Революционным трибуналом, заседавшим в бывшем дворце великого князя Николая Николаевича, как человек «абсолютно не верящий в восстановление монархии». В доказательство того, что его не зря выпустили, Куприн уже 8 июля в газете «Эра» публикует отклик на смерть убитого эсерами большевика Володарского, в котором уверяет, что он, Володарский, «твердо верил в то, что на его стороне – огромная и святая правда. Большевикизм, в обнаженной основе своей, представляет бескорыстное, чистое, великое и неизбежное для человечества учение».

А жить в Гатчине становилось все тяжелее из-за своеволия красноармейских патрулей и наступающего голода. Да еще до писателя доходили слухи, что в этом безумие виноват больше всего он, автор повести «Поединок», пестовавший ненависть к славной российской императорской армии. Вот теперь и пожинает свои плоды.

Но положение Куприна было не совсем безнадежно. В организованном М. Горьким новом издательстве «безработному писателю» предлагают написать вступительную статью к собранию сочинений Дюма-отца. Куприн вспоминал: «Труд этот был бескорыстен. Что я мог бы получить за четыре печатных листа в издательстве “Всемирной литературы”? Ну, скажем, четыре тысячи керенками<sup>2</sup>. Но за такую сумму нельзя было достать даже фунт хлеба. Зато скажу с благодарностью, что писать эту статью... было для меня в те дни... и теплой радостью, и душевной укрепой».

По протекции М. Горького 25 декабря 1918 года Куприн вместе с журналистом М. Леонидовым (он же поэт Олег Шиманский) был принят в Кремле В.И. Лениным для обсуждения проекта издания газеты для крестьян «Земля». Куприн вспоминал об этой встрече, которая длилась всего несколько минут: «Просторный кабинет. Три черных кожаных кресла и огромный письменный стол, на котором соблюден чрезвычайный порядок. Из-за стола поднимается Ленин и делает навстречу несколько шагов. У него странная походка: он так переваливается с боку на бок, как будто хромает на обе ноги; так ходят кривоногие, прирожденные всадники. В то же время во всех его движениях есть что-то “облическое”, что-то крабье. Но эта наружная неуклюжесть не неприятна: такая же согласованная, ловкая неуклюжесть чувствуется в движениях некоторых зверей, например медведей и слонов. Он маленького роста, широкоплеч и сухощав. На нем скромный темно-синий костюм и очень опрятный, но не щегольской белый отложной мягкий воротничок, темный, узкий, длинный галстук. И весь он сразу производит впечатление телесной чистоты, свежести и, по-видимому, замечательного равновесия в сне и аппетите... Зрачки у Ленина точно проколы, сделанные тоненькой иглой, и из них точно выскакивают синие искры. Он указывает на кресло, просит садиться, спрашивает, в чем дело. Разговор наш очень краток. Я говорю, что мне известно, как ему дорого время, и поэтому не буду утруждать его чтением проспекта будущей газеты: он сам пробежит его на досуге и скажет свое мнение. Но он все-таки наскоро перебрасывает листки рукописи, низко склоняясь к ним головой. Спрашивает, какой я фракции. “Никакой, начинаю дело по личному почину”. – “Так, – говорит он и отодвигает листки. – Я увижусь и переговорю с товарищами...” Все это занимает минуты три-четыре».

Из наивной затеи с новой газетой ничего не вышло из-за протеста председателя Моссовета Л.Б. Каменева. В субсидии, необходимой для издания газеты было отказано, а лично Куприну было предложено участвовать в еженедельнике «Красный пахарь». Огорченный, писатель от предложения отказался и покинул Москву.

Куприн яростно выступает против продразверстки, политики «военного коммунизма». Рассказ «Старость мира» (июль 1918 года) полон трагизма. Нет ничего хорошего в жизни, мир

---

<sup>2</sup> Керенки — народное название денежных купюр, номинированных в золотых российских рублях, но не имевших реального золотого обеспечения. Выпускались Временным правительством России в 1917 г. и Госбанком РСФСР.

идет к вырождению цивилизации, неизвестно, что делать, как жить. По просьбе Федора Шалыпина для нового народного театра Куприн с подстрочника переводит «Дон Карлоса» Шиллера, но эта работа, отняла только время и оказалась никому не нужной. Завтрак, обед и ужин семьи Куприных теперь часто состоят лишь из сухарей и ключевой воды. Лето 1919 года ушло в уходе за огородом, который к осени дал неплохой урожай картофеля и капусты.

В середине октября 1919 года Гатчина, где жил Куприн, была занята войсками генерала от инфантерии Н.Н. Юденича, выступившего против большевиков. Куприн, как офицер запаса, был мобилизован в чине поручика в Северо-Западную армию и становится редактором газеты «Приневский край», издаваемой штабом этого белогвардейского войска. После неудачного наступления на Петроград армия Юденича в начале ноября 1919 года отступила на эстонскую территорию, и вместе с ней покинул Россию с женой и дочерью Куприн. В Ревеле (ныне Таллин) им удалось получить визу в Финляндию, и они отправились в ее столицу.

Полгода они прожили в Гельсингфорсе (ныне Хельсинки). Куприн в это время сотрудничал в издававшейся в столице Финляндии эмигрантской газете «Русская жизнь» (позже – «Новая русская жизнь»). Секретарь газеты Юрий Григорков вспоминал: «Семья Куприных производила впечатление дружной и тесно сплоченной. Говорили, правда, что Куприн очень тяготился опекой над собою властолюбивой жены своей. Говорили, что он часто убегал из дому, пьянствовал и буйствовал, и что жена искала его тогда по разным притонам. Вероятно, что это так и было, но только в прежнее время, до революции. В мое время этого не было. Я работал с Куприным в течение года<sup>3</sup>, встречался с ним за это время ежедневно и ни разу не видел его пьяным».

В начале июля 1920 года Куприны перебрались в Париж. Это было вынужденное переселение, так как истек срок действия их финского паспорта, а новый не удалось получить.

«Нас встретили знакомые – не помню, кто именно, – вспоминала Ксения Куприна, – и проводили в очень посредственную гостиницу недалеко от Больших бульваров... В первый же вечер мы решили всей семьей прогуляться по знаменитым бульварам. Мы решили поужинать в первом приглянувшемся нам ресторанчике. Подавал сам хозяин, усатый, налитый кровью... немножко под хмельком... Отец взял объяснения на себя, тщетно подбирая изысканные формулы вежливости, совсем пропавшие из обихода после войны. Хозяин долго не понимал, чего мы хотим, потом вдруг взбесился, сорвал скатерть со стола и показал нам на дверь. В первый, но не в последний раз я услышала: “Грязные иностранцы, убирайтесь к себе домой!” Мы с позором вышли из ресторанчика».

Жили сначала Куприны на улице Жака Оффенбаха, в меблированных комнатах в одном доме с Буниным, который и посодействовал их переселению сюда из второсортной гостиницы. Александр Иванович устроился работать в русской газете «La Cause Commune» («Общее дело») Владимира Бурцева. Но служба длилась недолго, на него косо поглядывали, намекая на его некую связь с большевиками, и, в конце концов, Куприн ушел из редакции. Несколько месяцев проработал в журнале «Отечество», но и оттуда ушел, поссорившись с сотрудниками. За квартиру нечем стало платить.

Куприны в апреле 1921 года переехали в более дешевую квартиру в городке Севр Вилль д'Авре, что в 12 километрах от Парижа. Александр Иванович подыскал здесь домик с небольшим садом, напоминавшим гатчинскую жизнь, в котором они и поселились.

Иногда, когда уже в долг не отпускали ни хлеба, ни мяса, ходили в ближайший лес Сен-Клу собирать каштаны и питались ими. Но когда неожиданно приходили деньги – за издание очередной книги Куприна на русском или французском языках, – голодная жизнь забывалась, дом снова был полон гостей. Но вино уже не льется рекой – преградой ему встает Елизавета Морицовна, хорошо знавшая загульный характер мужа. Здесь Куприны продержались до 1923

---

<sup>3</sup> На самом деле, в течение полугода.

году, когда вернулись в столицу Франции. Они поселились в уютной квартирке с палисадником на бульваре Монморанси, где прожили следующие десять лет.

Умилный портрет писателя набросал в 1927 года корреспондент одной из рижских газет, побывавший у него в 1927 году: «Тихий уголок Пасси – бульвар Монморанси. Здесь особняки, затемненные старыми каштанами, провинциальная тишина и чинность. Похоже на Гатчину... Здесь живет уже пять лет А. И. Куприн, общий любимец нашей парижской колонии. В широком сером пальто, мягкой шляпе, с бородкой на типично русском лице, со своей вразвалочку походкой Александр Иванович в этом тихом уголке Парижа, где весной цветут каштаны, и бродячая шарманка наигрывает какой-то забытый вальс, похож на гатчинского обывателя. Все его тут знают. Всем он скажет ласковое слово, пошутит или на ходу рассказывает какую-нибудь историю, где купринская соль так и светится искрами остроумия. Из окна его квартиры видна эта тихая улица, видны каштаны. По утрам Александр Иванович работает. В кабинете стол, заваленный рукописями, книгами, газетами. На стенах портреты Л. Толстого и Пушкина. Гатчинские фотографии, память о Гатчине, где жил Александр Иванович в своем особнячке, разводил кур, сажал яблони, ухаживал за цветами... На камине всегда, зажмурив глаза, сидит и мурлычет его любимец – серый дымчатый сибирский кот Ю-ю...

– Живу здесь уже пять лет. Писал фельетоны, изредка рассказы. Сейчас как-то работается. Издаю у Карбасникова книгу новых рассказов...

– Наша эмиграция? Мне кажется, она резко разбита на верхи, которые политиканствуют и спекулируют, и на низы, то есть массы. Верхушка холодна, эгоистична и бездушна. Но масса большинство, что работает за станком у Рено и Ситроена, шоферствует и так далее, – эта масса добра, отзывчива, заботлива друг к другу. О, как ценят эту нашу рабочую эмигрантскую массу французы и как ее понимают!..

– Наше искусство? Что говорить о нашем искусстве?! Это наша единственная большая радость и наше оправдание. Скажу по совести, что, может быть, благодаря русскому искусству при мне никто и никогда не отнесся к русским неделикатно и нелюбезно...

– Опасность денационализации? Вы ее боитесь? Я не нахожу ее слишком серьезной. Я знаю, что почти все русские семьи берегут русский язык у детей, хранят его. Ведь дети так легко учатся и усваивают язык. Конечно, людям нашего возраста это страшней, но не будем говорить об этом. Русские люди очень емкие...»

Материальные лишения семьи Куприных продолжались, но не это главное, – угнетал окружающий мир. «Живешь в прекрасной стране, среди умных и добрых людей, среди памятников величайшей культуры... Но все точно понарошку, точно разворачивается фильма кинематографа, – писал Куприн в 1924 году в очерке “Родина”. – И вся молчаливая, тупая скорбь о том, что уже не плачешь во сне и не видишь в мечте ни Знаменской площади, ни Арбата, ни Поварской, ни Москвы, ни России, а только черную дыру».

Из старых знакомых Александр Иванович особенно близко сошелся с поэтом Сашей Черным (Александром Гликбергом), с которым частенько заглядывал, когда был при деньгах, в парижские кабачки. Они оставались самыми близкими друзьями до внезапной кончины Саши Черного 5 августа 1932 года.

В марте 1926 года Куприны открыли переплетную мастерскую, но дело не пошло, затем устроили в том же помещении книжный магазинчик, но и тут успеха не было. В 1934 году магазин превратили в русскую платную библиотеку.

Дочь Ксения, выбравшись из детского возраста, стала работать манекенщицей и сниматься в немом кино, приобрела некоторую популярность как актриса. Ее лицо теперь нередко можно было встретить на обложках журналов и рекламных проспектов. Однажды таксист, к которому сел Куприн, услышав его фамилию, спросил:

– Вы не отец ли знаменитой Кисы Куприной?

Но успехи Ксении на артистическом поприще не могли обеспечить благосостояния ее семьи. Почти все заработанные ею деньги уходили на приобретение туалетов, без которых невозможно было удержаться в профессии, тогда еще малоприбыльной. Хотя ее доля в семейном бюджете была самой весомой – она была постоянной.

Творческие силы Куприна, приобретенные в России, не были еще исчерпаны. Он создает очерки о Франции, пишет произведения, основанные на исторических преданиях, – «Однорукий комендант» (1923). «Тень императора» (1928), «Царев гость из Наровчата» (1933), посвященные русской природе – «Ночь в лесу» (1931), «Ночная фиалка» (1933), «Вальдшнепы» (1933), сказки, рассказы о цирке, о животных, мемуарные заметки. Появляется и написанные на чужбине повести – «Купол св. Исаакия Далматского» (1927) – о походе Северо-Западной белой армии на красный Петроград и «Колесо времени» (1929) – исповедь русского эмигранта, вспоминающего свое радужное прошлое.

Написанная в начале 1930-х годов повесть «Жанета. Принцесса четырех улиц» посвящена эмигрантской жизни в Париже, привязанности русского старика профессора Симонова к парижской девушке Жанете. Все творчество – тоска по оставленной Родине!

Наиболее крупное и значительное произведение послереволюционного времени – автобиографический роман «Юнкера» (1928–1932), посвященный пребыванию автора в Александровском военном училище. Роман представляет собой продолжение повести «На переломе (Кадеты)», но здесь отчетливо заметна явная идеализация далекой юности. Но это-то и понравилось русским людям, покинувшим Россию. Владислав Ходасевич, приветствуя публикацию «Юнкеров», в частности, писал: «Куприн как будто теряет власть над литературными законами романа, на самом же деле он позволяет себе большую смелость – пренебречь ими. Из этого смелого предприятия он выходит победителем. Единство фабулы он мастерски подменяет единством тона, единством того добродушного лиризма, от которого мягким, ровным и ласковым светом вдруг озаряется нам стародавняя, несколько бестолковая, но веселая Москва, вся такая же, в сущности, милая и чистосердечная, как шагающий по ее оснеженным улицам юнкер Александров».

Конечно, для русских эмигрантов идеализация прошлого – лакомый кусок. Попробовал как-то Куприн нечто иное, написав в 1934 году рассказ «Последние рыцари», где резко осудил карьеризм и бездарность офицеров и генералитета, тупоумие «стратегов» царской армии, которые и войны-то близко не видели. Просто, скромному, честному капитану Тулубееву и генералу Л., которого солдаты любят за справедливость, отзывчивость и глубокое знание военной науки, противопоставляется особа царской фамилии, прославившаяся кутежами, долгами да скандалами. Генерал Л. строго наказал отпрыска Дома Романовых, за что имел большие неприятности. Но его авторитет среди солдат еще больше вырос...

Монархические настроенные эмигранты увидели в сюжете этого рассказа клевету на «победоносную» русскую армию. Георгий Шервуд писал редактору «Возрождения» Ю.Ф. Семенову: «С чувством величайшего недоумения прочел я рассказ Куприна “Последние рыцари”, помещенный на страницах редактируемой Вами газеты. Не один я из числа Ваших читателей был удивлен и невольно задал вопрос: что это? Как могло “Возрождение” напечатать такой рассказ-пасквиль? “Последние рыцари” как нельзя более подходят к одной из советских газет, где и будут, несомненно, перепечатаны, но “Возрождение” – тот орган эмигрантской печати, который мы привыкли считать выразителем здоровых и чистых государственных взглядов, – как можно было напечатать весь этот вымысел?»

О чем бы ни писал Куприн, у него повсюду возникает чувство Родины. Даже в произведениях, отражающих зарубежную действительность, таких как «Золотой петух» и «Юг благословенный» – серии очерков о провинциальной Франции, отдавая должное красотам французского пейзажа, Куприн вспоминает черты родной русской природы, и все его симпатии оказываются безоговорочно отданными ей. «С чем сравнить этот пейзаж? – задает себе вопрос

писатель, рассказывая о Верхних Пиринеях. – Там, где он красив, – ему далеко до великолепной роскоши Кайтаурской долины и до милостивого нарядного Крыма. Там, где он жуток, – его и сравнить нельзя с мрачной красотой Дарьяльского ущелья. Есть местами что-то похожее и на Яйлу, и на Кавказский хребет, но ведь давно известно, что у нас было все лучше!»

В цикле очерков «Париж домашний», наблюдая парижских каменщиков, он пишет, что они «совсем похожи на русских (Мишевского уезда, Калужской губернии)», а любители голубей гоняют птицу, совсем как в Москве.

Гонорары за малочисленные и малотиражные книги на русском языке (на иностранные языки Куприна переводили все реже) приносили мизерные деньги, жене время от времени приходилось искать для себя работу. Куприн писал из Парижа дочери от первого брака Лидии: «Живется нам – говорю тебе откровенно – скверно. Обитаем в двух грязных комнатках, куда ни утром, ни вечером, ни летом, ни зимой не заглядывает солнце... Ужаснее всего, что живем в кредит, то есть постоянно должны в бакалейную, молочную, мясную, булочные лавки; о зиме думаем с содроганием: повисает новый груз – долги за уголь».

Содержание и стиль произведений Куприна, созданных в эмиграции, отличаются от произведений, созданных в России, в них звучат тоска и чувство обреченности. «Есть, конечно, писатели такие, что их хоть на Мадагаскар посылай на вечное поселение – они и там будут писать роман за романом. А мне всё надо родное, всякое – хорошее, плохое, – только родное... Я готов пойти в Москву пешком», – как-то сказал Куприн.

В письмах с теплотой и нежностью вспоминает Куприн покинутую Родину. В январе 1927 года он пишет проживающему в Финляндии великому русскому живописцу Илье Репину: «И как хочется настоящего снега, русского снега, плотного, розоватого, голубоватого, который по ночам фосфоресцирует, пахнет мощно озоном; снега, который так сладко есть, черпая прямо из чистейшего сугроба. А в лесу. Синие тени от деревьев и следы, следы: русаки, беляки, лисички-сестрички, белки, мыши, птицы».

В другом письме к нему Куприн горько сетует: «Знаете ли, чего мне не хватает? Это – двух-трех минут разговора с половым из Любимовского уезда, с зарайским извозчиком... Я изнемогаю без русского языка!»

С начала 1930-х годов Куприн быстро дряхлеет, сказалась его неумная жизнь в прежние годы. Он стал плохо видеть, слабеют чувства ориентации и внимания, ему даже ходить становится тяжело. Разве что блестящая память не изменяет писателю. Он пишет сестре Зинаиде Нат в Коломну: «Я старый, худой, седой и плешивею. Ничего не увлекает, не веселит, не интересуется. Собаку и ту запрещают держать. Работаю как верблюд, без увлечения, без радости. По ночам увлечен мыслью о смерти – и ничего, не страшно, только бы без страданий...»

Он занимается литературным трудом все меньше и жалуется на свою эмигрантскую судьбу: «О чем же писать? Ненастоящая жизнь здесь. Нельзя нам писать здесь. Писать о России по зрительной памяти я не могу. Когда-то я жил там, о чем писал? О балаклавских рабочих писал и жил их жизнью, с ними сроднился. Меня жизнь тянула к себе, интересовала, жил я с теми, о ком писал. В жизни я барахтался страстно, вбирая ее в себя... А теперь что? Все пропадает...»

Наступающая старость, болезни и тоска все усиливают настойчивое желание вернуться в Россию. Наконец он решился на этот поступок...

Н.А. Тэффи писала: «Елизавета Морицовна Куприна увезла на родину своего больного старого мужа. Она выбилась из сил, изыскивая средства спасти его от безысходной нищеты. Всеми уважаемый, всеми без исключения любимый, знаменитый русский писатель не мог больше работать, потому что был очень, очень болен, и все об этом знали».

Куприн с женой (дочь Ксения осталась жить во Франции) 31 мая 1937 года прибыли на Белорусский вокзал Москвы. Его встречала делегация Союза писателей СССР во главе с

ее руководителем Александром Фадеевым. Поодаль прохаживались штатные и внештатные сотрудники НКВД, разглядывая вернувшегося на родину согбенного рассеянного старичка.

Появился анекдот:

Куприн вернулся из эмиграции на родину. Поставил чемодан на платформу и всплеснул руками:

– Как же ты изменилась, моя Россия!

Наклонился за чемоданом – а его и след простыл.

Он снова всплеснул руками:

– Узнаю тебя, моя Россия!

Куприных разместили в номере фешенебельной гостиницы «Метрополь».

Генеральный секретарь Союза советских писателей В.П. Ставский отправил 2 июня отчет в ЦК ВКП(б), в котором писал: «Сообщаю, что на другой день после приезда писателя А. Куприна в Москву состоялась с ним беседа у меня и Всеволода Иванова. Крайне тягостное впечатление осталось от самого А. Куприна. Полуслепой и полуглухой, он к тому же и говорит с трудом, сильно шепелявит; при этом обращается к своей жене, которая выступает переводчиком...»

Похожее впечатление Куприн произвел на знавшего его по дореволюционным годам писателя Н.Д. Телешова: «Я был у него в гостинице “Метрополь” дня через три после его приезда. Это был уже не Куприн – человек яркого таланта, каковым мы привыкли его считать, – это было что-то мало похожее на прежнего Куприна, слабое, печальное и, видимо, умирающее. Говорил, вспоминал, перепутывал все, забывал имена прежних друзей. Чувствовалось, что в душе его великий разлад с самим собою. Хочется ему откликнуться на что-то, и нет на это сил».

Вскоре Куприных из «Метрополя» переселили на дачу из четырех комнат в поселке Голицыно, рядом с подмосковным Домом отдыха писателей. Елизавета Морицовна 11 июня 1937 года пишет дочери в Париж: «Мы живем в деревне, тишина и благодать – едим и спим, спин и едим – даже стыдно так жить, но утешаемся, что летом это необходимо, особенно для папы...»

Александр Иванович написал (не без помощи советских журналистов) небольшую заметку для советской газеты – «Москва родная», в которой выразил дежурный восторг от пребывания в советской столице. Время от времени он навещался в столицу для встречи с писателями. Один из них, Валентин Катаев, вспоминал: «Я увидел маленького старичка в очках с увеличительными стеклами, в котором не без труда узнал Куприна, известного по фотографиям и портретам. Он уже плохо видел и с трудом нашел своей рукой мою руку. Трудно забыть выражение его лица, немного смущенного, озаренного слабой трогательной улыбкой. Из-за толстых стекол очков смотрели очень внимательные глаза больного человека, сияющего проникнуть в суть окружающего».

В середине июня 1937 года Гослитиздат выпустил двухтомник «Избранное» Куприна. В него вошли произведения исключительно дореволюционного периода. Гонорар за «Избранное» обеспечил бывшему эмигранту наконец-то безбедную жизнь.

В середине декабря 1937 года Куприны переезжают на постоянное место жительства в Ленинград. Им предоставили четырехкомнатную квартиру в элитном доме на Выборгской стороне (Лесной проспект, 61). В июне 1938 года их можно было увидеть в пригороде Ленинграда – Гатчине, где они жили еще до революции. Теперь они поселились у старой гатчинской знакомой – вдовы архитектора Белогруда (их собственный дом все еще стоял, но в нем жили чужие люди, которых пока не удавалось расселить). Александр Иванович с радостью гулял по ее небольшому садику, среди множества цветов, которые любил с детских лет.

Александр Иванович скончался от рака пищевода на 68-м году жизни 25 августа 1938 года и был похоронен на Литературных мостках Волкова кладбища. Вдова писателя, всецело

посвятившая себя благополучию семьи («Личной жизни у меня никогда не было», – написала она в набросках неосуществленных воспоминаний), пережила мужа на пять лет и покончила с собой (находясь в тяжелом психическом состоянии, повесилась у себя в комнате) в блокадном Ленинграде 7 июля 1943 года. Ее похоронили рядом с мужем на Волковом кладбище.

*Михаил Вострышев*

## Родина

Странными становятся вещи, явления и слова, если в них начнешь вникать глубоко и всматриваться настойчиво. Всегда показываются новые грани и оттенки.

Вот понятие – Родина. Каким оно может быть зверино-узеньким и до какой безмерной, всепоглощающей, самоотверженной широты оно может вырасти.

Я знал любовь к ней в самой примитивной форме – в образе ностальгии, болезни, от которой умирают дикари и чахнут обезьяны. С трехлетнего возраста до двадцатилетнего я – москвич. Летом каждый год наша семья уезжала на дачу: в Петровский парк, в Химки, в Богородское, в Петровско-Разумовское, в Раменское, в Сокольники. И, живя в зелени, я так страстно тосковал по камням Москвы, что настоятельнейшею потребностью – потребностью, которую безмолвно и чутко понимала моя мать, – было для меня хоть раз в неделю побывать в городе, потолкаться по его жарким пыльным улицам, понюхать его известку, горячий асфальт и малярную краску, послушать его железный и каменный грохот.

Однажды – мы тогда жили в Химках, 21-я верста по Николаевской железной дороге<sup>4</sup> – случилось так, что в доме деньги были в обрез. Я пошел в Москву пешком, переночевал у знакомого причетника и пешком вернулся назад, совсем голодный, но с душою насыщенной, отдохнувшей и удовлетворенной.

Но особенно жестокие размеры приняла эта яростная «тоска по месту» тогда, когда судьба швырнула меня, новоиспеченного подпоручика, в самую глушь Юго-Западного края. Как нестерпимо были тяжелы первые дни и недели! Чужие люди, чужие нравы и обычаи, суровый, бледный, скучный быт черноземного захолустья... А главное – и это всего острее чувствовалось – дикий, ломаный язык, возмутительная смесь языков русского, малорусского, польского и молдавского.

Днем еще кое-как терпелось: застигалась жгучая тоска службой, необходимыми визитами, обедом и ужином в собрании. Но были мучительны ночи. Всегда снилось одно и то же: Москва, церковь Покрова на Пресне<sup>5</sup>, Кудринская Садовая<sup>6</sup>, Никитские – Малая и Большая, Новинский бульвар...

И всегда во сне было чувство, что этого больше никогда я не увижу: конец, разлука, почти смерть. Просыпаюсь от своих рыданий. Подушка – хоть выжми... Но крепился. Никому об этой слабости не рассказывал.

Да и как было рассказывать? По долгу службы мне нередко приходилось производить дознания о случаях побега молодых солдат со службы. Вряд ли кто-нибудь из моих сослуживцев чувствовал так глубоко всю невинность их преступления против присяги. Разве и меня не тянуло хоть на минуточку удрать в Москву поглядеть ее, понюхать? Но я уже был во власти дисциплины. И я был начальник.

Однако эти жестокие чувства прошли. Что не проходит со временем? Потом я изъездил, обошел, обмерил почти всю среднюю Россию. Улеглось «чувство к месту».

А еще потом я побывал за границей. Оказалось, что моя ностальгия только расширилась. Была всегда нерушимая, крепкая душевная основа: «А все-таки там – дом. Захочу – и поеду». Но наступал переломный момент. Большая Медведица. Вечером увидишь ее, проведешь от двух крайних правых звезд линию вверх, упрешься почти в Полярную звезду. Север. И потянет, потянет в Россию, не в Москву, а в Россию. Запихана кое-как в чемодан всякая хурда-мурда, третий класс, и... езда.

---

<sup>4</sup> В 1923 г. переименована в Октябрьскую железную дорогу.

<sup>5</sup> Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Кудрине была закрыта в 1931 г. и снесена в 1937 г.

<sup>6</sup> Ныне Садовая-Кудринская улица.

А теперь болезнь потеряла остроту и стала хронической. Живешь в прекрасной стране, среди умных и добрых людей, среди памятников величайшей культуры... Но всё точно понарошку, точно разворачивается фильма кинематографа. И вся молчалива, тупая скорбь в том, что уже не плачешь во сне и не видишь в мечте ни Знаменской площади, ни Арбата, ни Поварской, ни Москвы, ни России, а только черную дыру.

## Однорукий комендант

Рассказ этот написан по воспоминаниям о том, как его рассказывал в 1918 году Ефим Андреевич Лещик, человек середины прошлого столетия, то есть тех времен, когда еще не совсем исчезли из обихода: взаимная учтивость, уважение к старикам и женщинам, а также прелесть неторопливого и веского устного рассказа, ныне вытесненного анекдотом в три строчки или пересказом утренней газеты. Когда я расстался с Ефимом Андреевичем, ему было сильно за семьдесят, но он сохранил отлично, вместе с четкою памятью, все свои зубы цвета старых фортепианных клавиш, звучность и полноту голоса, густоту серебряных волос и зоркую твердость взгляда серых прищуренных глаз под нависшими толстыми веками. Большое свое тело он держал прямо и бодро и, по старинной моде, отпускал бакенбарды – висячие, «штатские», какие в его времена носили министры, дипломаты, банкиры, а впоследствии камердинеры; военные же предпочитали бакенбарды, распушенные вширь: на галопе и против ветра они придавали генеральским грозным лицам батальную картинность.

Ефим Андреевич провел жизнь большую и серьезную. Приключений не искал, от судьбы не бегал, узнал своевременно и войну, и любовь, и власть, простодушно веровал в бога и в Евангелие, не испытал ни бессмысленных увлечений, ни праздных раскаяний, вывел большую семью, которую держал в ласке и повиновении, не курил, но перед обедом неизменно выпивал серебряную древнюю чарочку ромашковой настойки.

Разговор его был важен, нетороплив и насыщен содержанием, причем о себе очень редко, разве в силу необходимой связи. Рассказывал он увлекательно, особенно, если чувствовал непритворное внимание. В моей передаче, я знаю, пропадет самое главное: прелесть старинных, иногда чуть-чуть книжных, иногда чисто народных оборотов речи, юмор не словечек, а положений, многозначительность пауз, меткие, лепкие сравнения... Жаль – нет у нас привычки записывать по свежей памяти: все нам некогда.

Рассказ, который сейчас последует, начался по смешному поводу. Сын Ефима Андреевича нанял в Гатчине для себя и своей семьи небольшую дачную квартиру такого странного расположения, что на улицу она выходила полутора этажами, а во двор одним без малого, то есть, иными словами, пол в кабинете Лещика номер два приходился немного ниже уровня двора. И вот каждое утро, точно в три часа и в пять, повадился приходить к кабинетному окну огромный красно-желто-сине-зеленый с золотом лоншанский петух и орал неистово во все свое петушиное горло, будя и мешая вновь заснуть. Ничто не действовало на горлана, сколько на него ни махали руками, ни кричали, ни стучали в стекла. Проорет и станет недвижно, глядя внимательно и удивленно строгим, холодным, круглым оком в окно. «Удивляюсь! Если я и солнце встали, то какой же смысл в позднем сне?» «Понимаете ли, – закончил молодой Лещик, человек весьма кроткий и тихий, – никогда я не смел воображать, что можно так ненавидеть самого заклятого врага, как я ненавижу эту разноцветную наглую тварь со шпорами».

Ефим Андреевич добродушно улыбнулся, отчего бакенбарды раздвинулись в стороны.

– Я тоже, – сказал он, – был близко знаком с одним таким петухом, по выражению великого Крылова. Так близко, как ближе нельзя. Это был знаменитый скобелевский петух в Бухаресте. Михаила Дмитриевича Скобелева. Но тут дело вышло иначе: и петуха румынского постигла печальная петушиная судьба, и Белому генералу досталось много неприятностей. Вот послушайте, как это все случилось.

Были дни второй Плевны. Я в то время состоял бессменным ординарцем при Скобелеве-втором, при Михаиле Дмитриевиче. Первое наступление на Плевну, как вам известно, окончилось неудачей. Подготавливалось второе. Но подготавливалось наспех. Штаб хотел, чтоб непременно его приурочить к тридцатому августа, к тезоименитству государя Александра Николаевича, вроде как бы именинного пирога, чтобы поднести взятую Плевну на серебряном

блюде. Скобелев был против. Он дальше глядел, чем любимчики из свитских и из штабных, и лучше знал, что солдат думает и чувствует про себя, и говорил им: «Рано, не время».

А надо сказать, что в штабе тогдашнего главнокомандующего, великого князя Николая Николаевича старшего, Скобелева терпеть не могли. Может быть, и боялись. Конечно, не великий князь, а генералы. Карьера у него слагалась уж очень головокружительная, солдаты на него молились, да и был Белый генерал как-то не по шерсти штабным, чересчур самостоятелен и свободен на язык. Понятно, его не послушались. Решили на тридцатое общую атаку, решили наудачу, накривую. Очень бранился Скобелев у себя в ставке. Такие слова говорил, что и теперь неловко повторить. Это все очень явственно мы оба слышали – я, его бессменный ординарец, да еще Круковский, архиплут великий, лентяй, грубиян и каналья – знаменитый денщик Скобелева. Понять я никогда не мог, за что Михаил Дмитриевич держит у себя такую бестию, за какие качества?

Скобелев был назначен в лоб. В истории все записано, какие чудеса он творил в тот день со своей железной дивизией, с Костромским полком, с Галицким, Архангелогородским и Углицким...<sup>7</sup> Выбили турок из редутов, заняли редуты. Солдаты в крови, в лохмотьях, черные от дыма. Держались до вечера. Турки наседали отчаянно. Солдаты держались. Майор Горталов, давши слово Скобелеву не отступать, выстоял до тех пор, пока у него перебили всех людей, а самого его подняли турки на штыки. Одного за другим слал Скобелев адъютантов и ординарцев в штаб: «Поддержите, мол, пришлите подкрепление, гибнем», и – ничего: ни гласа, ни послушания. Потом уже увертывались по-своему: не могли-де мы ослаблять резерва, где у нас находилась драгоценная особа государева брата. Вранье! Тогда мы все, армейские, хорошо их мысли раскусили. Увидели они вскоре, что их именованный подарок задуман слепо, и оставили одного Скобелева кашу расхлебывать. Удастся чудом атака, мы ее поддержим, а в реляциях припишем нашим мудрым распоряжениям, не удастся – Скобелева и вина, и ответ. Пришлось Скобелеву отойти. Силою выгоняли солдат из окопов – до чего озлобились. Стон стоял, как они ругали штаб. Да и что их осталось-то – меньше четверти. На ногах не стояли...

Видел я генерала, когда он приехал в ставку. Страшно было глядеть. Так осунулся, что только нос огромный и глаза, страшные, как у сумасшедшего. Не говорил – лаял. Стал за домом умываться. Круковский ему на руки сливал из кувшина, а рядом стоял один пехотный полковой командир, очень храбрый полковник. Скобелев его чтит и любит. Разговаривали. Вдруг Скобелев как всплеснет руками, как бросится ничком и давай кататься по земле и по грязи. «Предатели, – кричит, – продажные души, губят армию и Россию!» Я заплакал. Но тут Круковский – отчаянный он человек был – подошел он к Скобелеву и стал грубо под руку подымать. «Одумайтесь, – говорит, – ваше превосходительство, люди ведь кругом, смотрят, слушают, срам-то какой! Пожалуйте в комнаты». Успокоил.

Да что Скобелев? Вся Россия от горя поникла. Злые шутки тогда между народа ходили. «Стряпали, мол, именованный пирог из солдатского мяса, да не выпекся».

А Скобелев отпросился в отпуск, в Бухарест, по причине нервного расстройства. Он и вправду заболел разлитием желчи, пожелтел, сначала вроде лимона, а потом лицо у него ударило как бы в бурый цвет с крапинками. И уехал.

В Бухаресте жил он весьма причудливо, а на глаз врагов и завистников даже зазорно, и это, где следует, ему на счет записывалось. Кутил он, надо сказать, шибко. Однако мало, кто видел, как он по ночам работал. Вылет ему, бывало, Круковский несколько кувшинов ледяной воды на голову, он пофыркает, вытрется мохнатым полотенцем и сейчас же за карты, за книги, за чертежи. Приводили к нему каких-то тамошних человек, черномазых, усатых, носатых, и он с ними часами по-французски разговаривал. Спал урывками.

---

<sup>7</sup> Так перечислял Е.А. Лещик. (Прим. автора)

Вот тут-то и о петухе. Повалился к нему под окно каждое утро такой же, как и к тебе, Володя, султан турецкий. Орет – ничего с ним не поделаешь. Круковский, бывало, его и камнями, и метлой гонял, и водой окачивал – никакого, подлец, внимания, орет. А генерал из себя выходит. И, наконец, не выдержал, лопнуло терпение, решил предать петуха военному суду.

Самый форменный был суд, с дознанием, с протоколами. Следователь допрашивал и генерала, и меня с Круковским. Собрались судьи, все офицеры, ввели петуха, секретарь прочел обвинительный акт, говорил прокурор – громы и молнии, вслед за ним вышел защитник, у того были слезы на глазах и голос трепетал... Потом суд удалился, посоветался минуточку и вынес постановление: «Ввиду, дескать, того, что генерал-лейтенант Скобелев, будучи занят важными военными вопросами и делами, ко славе русского оружия относящимися, а оный злоумышленный петух, по подкупу или подговору коварного врага, сим важным государственным занятиям чинит вред и помеху и в том деле явно и подло упорствует, то оногo петуха, к посрамлению противника и к вящему торжеству Всероссийской державы, предать смертной казни через отрезание головы и сварение его тела в кипятке на предмет изготовления из него болгарского пилава».

Так и сделали, как порешили. Круковский, по слабости натуры, боялся кур резать. Я зарезал. Я же и приготовил из него пилав. Знаменитый вышел пилав: с красным стручковым перцем и с паприкой, с томатами, с луком-чесноком, с укропом-петрушкой-сельдереем, – не пилав, а адский пламень. И полит он был обильно шампанским вдовы Клико.

Этот петух обошелся Михаилу Дмитриевичу не дешево. Всегда про него в штабах хихикали и шептались: у солдат-де популярности ищет, на белом коне в белом кителе разъезжает под пулями, к ротному котлу присаживается, а сам людей ради своей славы не жалеет. Теперь стали прибавлять: над военным судом шутовство устроил, петуха к смертной казни приговорил. И такого пустого генерала назначают на ответственные посты!.. Косо на него тогда начальство глядело.

Но не армия. Русский солдат все понимает. Пусть генерал петухов судит, пусть хоть сам перед фронтом петушинит; пускай иной чужак поплакать склонен, а другой ругается такими словами, что черту в преисподней страшно становится, – солдат всегда почует, есть ли у генерала настоящая душа и вера, или он из позолоченного картона, а внутри свистулька. Третья Плевна показала всей России, что такое Скобелев!

А для Белого генерала она была новым огорчением. И не так его то обидело, что дали ему не «графа», как он мечтал и предполагал, а всего только вензеля<sup>8</sup>, а то, что остановились русские войска в виду Константинополя – рукой подать, – но запретили им идти дальше англичанка с Бисмарком. Плакал он тогда в Бургасе, говорят, как малый ребенок, от гнева. И уехал с горя в Хиву.

Я считаю так, что он был великий человек и гораздо умнее всех своих современников. Вот мы теперь п...и к такой-то матери эту проклятую войну. А он за двадцать пять лет до нас ее предвидел. Говорил, что самый наш главный, природный и единственный враг – немец, и что нет удобнее минуты, чтобы свернуть ему голову, а то потом будет поздно. Он не таил своих мнений, высказывал их громко. Говорят, что и раньше он говорил об этом же всенародно, перед французами. Правда ли это? Ну, вот видите, значит, правда. Какого полета мысли был человек! Какой прозорливости! И с тогдашними своими солдатами он все мог бы сделать. Ах, пропал у нас надолго генерал-герой, генерал в белом кителе и на белом коне!

Пусть не болтают глупости, что умер он от пресыщения излишествами. Он? Богатырь? Такие люди умирают на поле брани или от отравы. Вся Москва знала и говорила, что, по воле Бисмарка, поднесен ему был в бокале вина неотразимый яд, и в час его смерти выехал из Москвы в Петербург специальный агент на экстренном поезде.

---

<sup>8</sup> Оставляю на памяти и совести рассказчика. (Прим. автора)

Как Москва провожала его тело! Вся Москва! Этого невозможно ни рассказать, ни описать. Вся Москва с утра на ногах. В домах остались лишь трехлетние дети и недужные старики. Ни певчих, ни погребального звона не было слышно за рыданиями. Все плакали: офицеры, солдаты, старики и дети, студенты, мужики, барышни, мясники, разносчики, извозчики, слуги и господа. Белого генерала хоронит Москва! Москва ведь!

Я всю семью Скобелевых хорошо знал. Управлял именьями Михаила Дмитриевича и Дмитрия Ивановича и господ Богарне. Про Дмитрия Ивановича немного рассказывать. Ум у него не был приспособлен для дел, так сказать, государственных, а был простой, хозяйственный ум, с помощью которого он прожил всю свою жизнь с пользой для себя и не во вред людям. Был храбрый генерал, но – как бы выразиться – без особенной стратегии и без чрезмерного честолюбия. Михаил Дмитриевич иногда поддразнивал отца тем, что перегнал его по службе, и шутя подтягивал. Старик обижался, но не очень. В армии ему было прозвание «Паша», и это не за какую-нибудь там слабость или склонность, а так иногда, бывало, на него находила полоса самодурства. Заупрямится, забурлит, закричит, ногами затопает, не слушает никаких резонов. Такие взрывы за ним все знали – и на военной службе, и дома, в имении, – так же, как знали и рецепт против них: не возражать ни звуком, а дать «Паше» выкипеть. Тогда он понемногу стихал, проглатывал слюну и спрашивал, точно проснувшись: «А? В чем дело?»

Хороший был человек, солидный, серьезный. Пыли в нос никому не пускал. Рассказывали про него, что представлялся он однажды государю Александру Второму. Царь и спрашивает его: «Так ты, значит, Скобелев? Отец и сын знаменитых Скобелевых?» Ну, что ему было отвечать? «Так точно, ваше величество».

Но из всех Скобелевых меня более других увлекала и занимала фигура Скобелева-первого, Однорукого коменданта, Ивана Никитича, дедушки Белого генерала. И судьба его, и жизнь, и самый характер – все у него было как-то ни на что не похоже: горячо, странно, и трогательно, и жестоко – совсем не пописанному. Впрочем, и то сказать, какие времена тогда были! Времена железных людей, орлов, великанов! Земной шар служил у них шариком в садовой игре, именуемой бильбоке... Умели тогда повелевать и умирать. Красивые годы были и... кровавые.

Я Однорукого коменданта, конечно, не застал. Когда он кончил свое земное поприще, я, должно быть, еще и на свет не появлялся или, по крайности, пешком под стол ходил. Но вел я близкое знакомство, даже дружбу, в имении с древней старушкой Анной Прохоровной, нянькой еще Дмитрия Ивановича, жившей потом на покое. Та Ивана Никитича и его жизнь помнила до мельчайшей черточки и многое мне о нем рассказывала. Рассказчица на удивление – курский соловей, дар от бога, златоуст во вдовьем темном платье.

Происходил он из дворян-однодворцев. Настоящая фамилия его была просто Кобелев. А на военную службу этот однодворец Кобелев пошел охотником. Не рекрутом, за кого-нибудь, а по своему собственному желанию, добровольно. По тогдашнему времени и по тогдашней военной тяжелой службе – редкий случай до необычайности.

Анна Прохоровна была его землячка, родом из соседней деревни. Так она уверяла, будто бы пошел он под присягу с отчаяния, из-за жены. Будто бы женился он совсем мальчишкой, не по своему желанию, а по воле родителей, на девке гораздо старше себя, а та оказалась в бабах, хоть и красивой, но никуда: вздорная, лентяйка, неряха, к тому же путаница и вдобавок выпивала.

Это, может быть, так и было. Но я думаю, что не одна эта причина – бабья докука – его погнала под ранец с выкладкой; должно быть, бывают такие люди, особливо буйные по натуре: везде и всегда им тесно, а страха и угомона на них нет. Я часто глядел на портрет литографический Иван Никитича, сделанный с масляного портрета его, не так чтоб очень молодым, а скорее зрелых лет. Огонь!

Но, с другой стороны, не мимо сказано в премудростях Иисуса сына Сирахова: «Соглашусь лучше жить со львом и драконом, нежели со злою женою». А в притчах Соломона говорится так: «Горе – жена блудливая и необузданная; ноги ее не живут в доме ее». А впрочем, трудно нам нынче судить по делам тех людей, которые больше полвека спят в могиле. Тут лучше помолчать.

Отличился Иван Никитич сперва в последнем походе Суворова, при императоре Павле Петровиче. Вышел на линию офицера. Моложе его в отряде был только Милорадович. Потом дрался против Наполеона под Кульмом, Аустерлицем и Лейпцигом и во всю Отечественную войну. Под Смоленском он командовал полком, и там ему ядро оторвало левую руку. В другом сражении потерял он два с половиною пальца на правой руке. Кроме этого, имел ран и контузий без числа.

Участвовал он и в славной Бородинской битве, покрыв себя неуязвимой славой. Весь его полк poleg на поле брани ранеными и убитыми, окруженный французскими полками. Остались на ногах только Скобелев, да знаменщик со знаменем, да трубач с барабанщиком, и еще пять солдат. Сомкнулись кучкой для последней смертной минуты. Сам Наполеон это видел и приказал не трогать храбрецов, а доставить ему живыми. Так и было сделано. И что же вы думаете, как поступил император французов? Велел выстроиться своим войскам и отдать русским героям воинскую почесть, с ружьями на караул, с музыкой и преклонением знамен! Почтил храбрость во враге. Он понимал эти высокие вещи и умел их показывать своим солдатам. Со своей груди снял орден Почетного легиона, прикрепил его на грудь Скобелеву. И объявил русским, что они свободны и могут возвратиться к себе.

А когда увидел, что Скобелев едва держится на ногах от потери крови и усталости, то предложил ему остаться на несколько дней во французском лагере, где за ним будет смотреть и ухаживать самый знаменитый врач, личный лейб-медик самого Наполеона. Но Скобелев отвечал на эту любезность со всевозможной учтивостью, что, мол, похвала и внимание такого великого полководца, – хотя он и вождь неприятельских войск, – есть лучшая награда за военную доблесть, но что у него, Скобелева, остался в обозе первого разряда один чудодейственный ротный фельдшер, который до тонкости знает свое живодерное ремесло, и который уже не раз составлял, сращивал и заживлял ему всякие разрубленные, проколотые и продырявленные места.

Тогда Наполеон не только отпустил Скобелева с миром, но еще повелел дать под него и под знаменщика со знаменем свою собственную раскидную коляску, а войска проводили русских героев с музыкой и с отданием чести.

Главнокомандующий князь Кутузов встретил Скобелева по приезде из плена, обнял его, поцеловал, заплакал и много хвалил (да его и сам Суворов не обходил своей крутой солдатской похвалой), а потом, когда Скобелев подлечился, послал к государю Александру Павловичу с донесением. Государь его принял отменно ласково, однако сказал: «А все-таки не пора ли тебе, Скобелев, в отставку? Повоевал ты за двадцать человек. Не будет ли? Отдохнул бы? Теперь у тебя, чай, и места нет цельного, по какому тебя можно рубить». Но Скобелев обиделся: «Если я своими культянками еще могу креститься и ложку ко рту подносить, то и на твоей, государь, службе сумею держать поводья и саблю». Так в отставку и не пошел. Служил в боевой армии до самого конца Отечественной войны, в Париж верхом въехал впереди своей дивизии и при Ватерлоо, вместе с другими, поставил точку наполеонову величию. Наполеона же до конца дней чтит, по справедливости, как первейшего полководца всех веков.

После войны взшла высоко скобелевская звезда. Известно, какая обычная судьба у героев: прошла в них нужда – их и забыли. Но у Иван Никитича был какой-то особый добропоспешный ангел, который мудро направлял его бурную и вдохновенную жизнь. Надо тоже сказать, что все его почетные увечья не позволяли о нем забыть. Государь пребывал к нему неизменно милостив, в свете его ласкали и баловали.

Несмотря на то, что инвалид, был он необыкновенно хорош собою, – в таком, представьте себе, мужественном, геройском штиле. Я вам давеча про портрет упоминал. Ну, уж и портрет – прямо на ананасную конфету! Левый рукав бантом к плечу пришпилен, правая рука выставлена вперед, и на ней двух средних пальцев нет совсем, а на третьем только один сустав остался. Но поворот головы! Вверх и вбок! Лев! Глаза огненные. Волосы в курчавом беспорядке. На бритых устах усмешка гордая и любезная: гордая для соперников, любезная для прекрасного пола.

Одна петербургская графиня, первая красавица и ужасная богачка, в него донельзя влюбилась. И он отвечал ей расположением. Тогда, по распоряжению высших властей, поведено было его первый брак с непутевой женой расторгнуть, а ему было разрешено вступить в новый брак с графиней. И к фамилии его, с высочайшего соизволения, была приписана в начале литера «слово», то есть стали – он и его будущие потомки – именоваться для благозвучия не Кобелевыми, а Скобелевыми.

Жил он беспечно и весело с молодою женою в собственном доме на Английской набережной. Вся петербургская знать их дом охотно посещала. Иван Никитич, кроме своих военных заслуг, почитался не напрасно одним из лучших тогдашних собеседников. Разговор его был острый и приятный, а при его знании жизни и большом опыте также и поучительный. Притом же владел он и пером весьма свободно. Много им было написано и напечатано премилых и презанятных рассказов про солдат, мужиков и господ. Я, находясь в имении Дмитрия Ивановича, брал сочиненные им книжки из библиотеки и читывал.

Очень занимательное и полезное чтение. Тогдашние писатели писали просто и понятно. Теперь это не в моде, и их уже забыли и не читают. Не знаю, похвально ли это. Даже имен ихних никто не помнит.

В ту пору Иван Никитич был генерал-адъютантом, генерал-лейтенантом и состоял в звании начальника Петербургского гарнизона. В ту же пору, и по тому же званию, с ним произошла большая неприятность.

Как всегда, был назначен на первое мая парад всем частям Петербургского гарнизона на Марсовом поле. С утра свели на плац полки. Съехалась высокопоставленная публика в особо устроенные ложи. Собрался весь генералитет. Приехала царская семья, и, наконец, прибыл сам государь Николай Павлович.

Всегда на этом параде полагалось: как только государь изволит проследовать на Марсово поле, то все рогатки мигом запирают, и больше пропуска никому уже на парад не бывало. Так поступили и в это утро, по всей строгости устава.

Но дернула нелегкая какого-то посланника опоздать на три минуты. Не знаю, был ли это германский или австрийский посол, помню одно, что немец. Подъезжает он к одной рогатке – нет пропуска, к другой, к третьей – тот же поворот от ворот. Николаевский солдат был какой? Скажут привести – самого черта приведет за шиворот, не пускать – ангела господня не пропустит. Посол спрашивает: «Кто запер рогатки?» – «Начальник гарнизона, генерал Скобелев». – «Где он?» – «А вот там, где кончается Лебяжья канавка, у Цепного моста».

Немец к нему. Видит, сидит на коне инвалид... «Как это так, что меня не пропускают?» – «Точно так. И не пропустят», – отвечает Скобелев. «Да вы знаете ли, кто я?» – «Может быть, и знаю, но в сей момент вы для меня есть лицо, приехавшее после прибытия государя, а потому впущены за цепь быть не можете в силу закона». – «Как вы смеете со мной разговаривать таким тоном!»

Иван Никитич имел характер ровный, любезный и терпеливый, но был подвержен вспыльчивости и не жаловал немцев. Когда на него посол закричал, он рассердился и ответил сурово: «Точно таким же образом я разговаривал с императором Наполеоном в его ставке в день Бородинского сражения. И он не только на меня не кричал, подобно вашему превосходительству, но пожаловал меня собственноручно орденом Почетного легиона за мою беззаветную службу государю и родине». – «Хорошо же, – погрозил посол. – Вы меня узнаете! Нынче же обо

всем будет доложено императору...» – «Ваше дело. А теперь налево кругом марш! Капральный, проводить генерала!»

Немец, конечно, смолчал бы при других обстоятельствах, тем более что сам провинился опозданием. Но стерпеть «Наполеона» он не мог. Почел за оскорбление всей своей нации и вправду пожаловался государю. Может быть, и от себя чего-нибудь наплел. Государь разгневался и на докладе по этому делу начертать изволил собственноручно: «Ретивого грубияна убрать с должности, без внесения, впрочем, в послужной список».

Так Скобелева и убрали с должности «без внесения», но никуда, однако, вновь не определив, оставив его, некоторым образом, висеть в воздушном пространстве, без точки опоры, как это показывают магнетические фокусники над усыпленной девицей. В то время, как и теперь, можно было приспособиться жить без руки или без ноги, но без службы тогда человек был немислим.

И вот зажил Скобелев нудной и бездеятельной жизнью. Царская немилость от него многих светских друзей оттолкнула. Развлекался он как мог. Гулял по набережной и в Летнем саду, ездил слушать почтамтских певчих и сам подтягивал верным баском, писал свои мемуары и повести. В эту же пору ему кто-то подарил большого зеленого попугая, который потом своим разговорным талантом прославился на весь Петербург. От нечего делать Скобелев учил этого попугая разным словечкам и изречениям. Но какая же утеха для гордого и горячего духа учение попугая, или почтамтские певчие, или, скажем, литература? Стал Иван Никитич хмуриться, скучать, раздражаться.

И вот как-то утром вышел он прогуляться на Английскую набережную. А навстречу ему государь. Идет пешком, быстрыми шагами. Пелерина развевается. На каске реют разноцветные перья. Иван Никитич, как полагается по уставу, сошел с тротуара, стал во фронт, фуражку снял. «А! Здравствуй, Скобелев. Что это тебя не видно, не слышно?» – «Так и так, ваше величество, сижу все дома, размышляю и никак не могу доискаться, за что лишен монаршей милости». – «Вот ты как? Хорошо же. С завтрава упрячу тебя в крепость». – «Вашему величеству, конечно, виднее, что я заслужил за мою службу престолу и родине». – «Молчи, молчи, грубиян. Прощай. Завтра жди». – «Слушаю, ваше величество».

И, правда упрятал: на другое же утро получил Иван Никитич личное назначение от государя: быть ему комендантом Петропавловской крепости. Пост видный, почетный и спокойный. До конца своих дней оставался Скобелев в этой должности, каждую весну после ледохода переплывал на лодке через Неву, открывая навигацию, и ежедневно в полдень палил из пушки, чтобы все жители Питера знали, что наступил адмиральский час, когда надо проверять часы и пить водку с соленой закуской.

В Петропавловской крепости Однорукий комендант повел жизнь тихую и единообразную – нынче говорят, меланхолическую, – ибо вскоре скончалась его горячо любимая супруга. Да и сам комендант, – хотя в нем и сидело двадцать средних человеческих жизней, – дожил до того предела, когда время охлаждает самый пылкий военный нрав, а почетные раны и увечья дают себя знать по ночам, напоминая о смертном часе.

Вернувшись от ранней обедни, Иван Никитич обыкновенно кушал, не торопясь, кофе: по скоромным дням – с топлеными сливками, по постным – с ложечкой рома. Попугай в этот час выпускался из клетки и свободно разгуливал по кабинету. Очень он любил присесть к своему коменданту на плечо. Присядет, и трется головкой о комендантову щеку, и тянется кривым клювом в чашку. И хитрый был попрошайка, чтобы подольститься, возьмет и начнет передразнивать смену караула или рапорт дежурного офицера, а то голосом самого Ивана Никитича проговорит целый кусок из его утренней молитвы. Коменданту все это очень нравилось. Чесал он попугая шейку и угощал его на отдельном блюдечке сахаром или сухарем, смоченным в кофе.

Нужно также сказать, что было у Скобелева, в промежутках между делами службы, одно приватное занятие, весьма важное и таинственное. Давным-давно завел он себе особую огромную тетрадь, размером с церковную Библию екатерининских времен, в переплете из толстой телячьей кожи и с тяжелой золотой застежкой, которая запиралась на ключ. Ключ же этот Иван Никитич носил на шейной крестовой цепочке. И вот, когда выдавалась свободная или вдохновенная минутка, отпирал Однорукий комендант своими культияпками книгу и писал в ней с большим тщанием, прилежно и углубленно. Окончивши же писать, опять аккуратно запирали. Никому не было известно, какие высокие сюжеты и важные размышления наполняли эту книжищу, и никто не видал ее раскрытой или незапертой. Кроме, конечно, попугая.

Но пришлось однажды так, что в одно утро, когда комендант, понежничав с приятелем попугаем, раскрыл уже свою серьезную книгу, – его вдруг спешно позвали по какому-то неотложному делу государственной значительности. И столь дело было торопливо, что впервые позабыл Иван Никитич о ключике и о застежке. Выбежал, оставив книгу за столом развернутой.

Сделал он, что ему полагалось, отдал, какие нужно, распоряжения, возвращается в кабинет и – о, ужас, что же он видит! Попугай, удобно примостившись на столе, уже успел выдрать из таинственной книги десятка полтора листов, захватил их в лапу и нещадно дерет своим жестким острым клювом на мелкие куски. Тут комендант сверхъестественно вспылит. Схватил своей изуродованной рукой линейку и на попугая! Попугай в страшном перепуге на этажерку, комендант за ним. Попугай на комод, на лампу, на карниз, на портрет государев, на кресло, куда придется – комендант все его догоняет. Наконец забился под диван, к самой стене. Иван Никитич на карачках елозит по полу, изогнувшись, шарит линейкой под диваном и кричит: «Выходи, покажись, мерзавец, сейчас я тебя исколочу, негодяя!» А попугай от смертельного страха принялся вдруг лепетать, что ему первое попало в голову: «Молитвами святых отец наших, боже, милостив буди мне, грешному».

Ну, тут отошло комендантово сердце, отхлынул гнев от груди. «Ладно уж, вылезай, подлец этакой. Бить тебя не стану, а иначе накажу. Ты попомнишь, как портить книги!»

Велел принести себе гуммиарабику, прозрачной бумаги и приказал, чтобы гретые утюги всегда были готовы. И много дней он утюжил, приглаживал и склеивал разодранные попугаем в клочки рукописные страницы. Попугай же в эти дни был оставлен без кофе, без сухарей и без сахара. Уж как он заискивал, как подольщался. То закричит: «Шай! На кра-ул!», то «Отче наш» бормотать начнет. Скобелев только возьмет и постучит своими обрубками о твердый телячий переплет: «Помни, прохвост, как важные бумаги рвать!..» Ну, потом, конечно, простил... Только уж больше не забывал о ключике и застежке.

Второй случай с попугаем был посерьезнее, и тут перепугался не один попка, но и сам неустрашимый Однорукий комендант.

Государь Николай Павлович весьма часто посещал Петропавловскую крепость и ее собор – усыпальницу русских императоров. И каждый раз, встречаемый и провожаемый комендантом, государь непременно заходил к нему на несколько минут для деловых или просто приятных разговоров, потому что после прежней немилости стал он особо любить и жаловать Ивана Никитича. И попугая государь тоже очень хорошо знал.

Так вот, чтобы сделать лестный сюрприз своему императору и благодетелю, обучил Однорукий комендант своего попку отвечать на царские приветствия и вопросы. Николаю Павловичу эта шутка весьма понравилась и никогда не уставала забавлять его внимание. Только, бывало, изволил войти в комендантов кабинет, с аналоем пред образом и узкой холщовой походной кроватью в углу, сейчас же к попке своим могущественным голосом: «Здорово, попка!» А тот: «Здравия желаем, ваше императорское величество!» – «Кто я?» – «Государь и самодержец всея России!» И всегда смеяться добродушно изволил Николай Павлович.

Но только раз приехал государь в крепость совсем в тяжелом расположении духа. Равнодушно поздоровался с караулом, рассеянно выслушал обедню. Погода, что ли, была такая особенно гадкая, петербургская, или дела отечественные не веселили... неизвестно. После обедни, по обыкновению, зашел к коменданту. Увидел попугая. И, больше по привычке, сказал ему: «Здравствуй, попка!»

А попугай тоже в этот день находился, верно, в расстроенных чувствах, сидел кислый, сгорбившись, распушив перья. Ни слова на царское приветствие. Государь опять: «Здорово, попка». Тот опять молчит. Тогда государь для разнообразия изменил обращение. Спрашивает: «Кто я?» А попугай совсем из другого репертуара возьми да и брякни явственно:

«Дур-рак!»

Ивана Никитича, точно пороховую бочку, взорвало. Позор-то какой! Рванулся на попугая: «Голову оторву!» И давай за ним гоняться по кабинету: «Убью! Своими собственными руками задушу подлую скотину! У меня в доме! Моему государю! Не уйдешь ты, гадина, от моей руки!..»

Император уж сам стал его успокаивать: «Оставь, Скобелев. Птица – тварь неразумная. Грех ее убивать. Оставь».

Но куда! «Нет уж, ваше величество, позвольте мне в первый и единственный раз вашей воли послушаться. Этого разбойника мне моя христианская совесть приказывает уничтожить. Эй, кто там, денщики, вестовые, драбанты! Дайте мне мой заряженный кухенрейторовский новый пистолет. Он в соседней комнате на ковре висит. Обязан я убить подлого этого попугая».

Но Николай Павлович его, наконец, утихомирил.

«Не трогай птицу, храбрый Однорукий комендант. Я тебе скажу, что его голосом сам бог говорил. Он правду выразил, сказав, что я дурак. Нынче за обедней я совсем не о молитве думал и больше полагался на собственные измышления, чем на божескую помощь... Не убивай же этого попугая...»

Так и спас государь попугаеву жизнь. И попугай не только пережил своего доброго и вспыльчивого хозяина, но еще прожил, после его смерти, сорок лет в скобелевском доме на Английской набережной. Дальше его судьба потерялась из преданий.

Вот и все о комендантском попугае. Но, видите ли, попугай связан с таинственной книгой, а таинственная книга имела близкое отношение к кончине Однорукого коменданта. Значит, надо довести рассказ до точки.

Пришла для Иван Никитича пора закончить все свои земные дела и идти отдавать отчет праведному судье. Никогда он в жизни ничем не хворал, кроме как от ран, а тут слег, чтобы больше уже не вставать. К смертному часу готовился он безропотно и в полном сознании.

Услышав об этом, Николай Павлович приехал попрощаться со своим любимцем и почитаемым героем. Говорил с ним долго и ласково. «Все ли свои земные долги исправил, Иван Никитич?» – «По мере сил, разумения и памяти, государь». – «Не найдешь ли ты чего-нибудь у меня попросить? Исполню все, как последнюю волю родного брата». – «Ах, ваше величество, осыпан я монаршими милостями свыше моих скромных солдатских заслуг. Все мне дала царская служба: и чины, и имение, и почет. Отхожу к высшему владыке вашим благодарным молитвенником». – «Хорошо, Скобелев. Но все-таки подумай, не отыщешь ли чего в памяти? – Рад быть твоим душеприказчиком».

Тут Иван Никитич помолчал, поразмыслил некоторое время и сказал нерешительно и даже робко:

– Вот разве что, ваше величество... Только боюсь выговорить...

– Ничего. Говори все. Слушаю тебя сердцем.

– Вот что, государь! Есть у меня к тебе две заветные просьбы: одна – для моего последнего утешения, другая – для блага великой России и твоей бессмертной славы.

– Говори, Иван Никитич.

– Первое. Всегда была у меня дерзкая мечта: быть похороненным в ограде здешнего собора, но так, чтобы головой к ногам обожаемого мною императора Петра Первого.

– Так и будет. Сказывай вторую просьбу.

– Другая еще дерзновеннее. Заранее прошу, не прогневайся, государь. Ах, если бы ты даровал волю всем русским крестьянам, наградив их, по твоей высокой справедливости, землей. О, государь! Взамен ста миллионов рабов ты имел бы сто миллионов свободных подданных, которые ежечасно благословляли бы твое имя и всегда были бы готовы пролить за тебя и государство, тебе врученное, всю кровь до последней капли. Какое царствование! Какая мощь русской земли! Весь мир будет у твоих ног, государь! Извольте видеть, ваше величество, на столе эту большую книгу с застежкой? Там у меня все по этой части сказано, со всеми планами и соображениями. Плод двадцатилетней упорной работы. Возьми, государь, эту книгу. Вот и ключик к ней, у меня на шейной цепочке.

Но император нахмурился и прервал Скобелева резко:

– Как тебе не стыдно, беспутный старик! Лежишь на смертном одре, а болтаешь детские глупости. Прощай. Думай о грехах. Молись.

И вышел от него разгневанный.

В ту же ночь тихо, точно заснул, скончался Однорукий комендант. В ту же ночь приехал, по особому повелению, в крепость генерал Дубельт. Описал все комендантовы бумаги и увез с собою. В том числе и огромную таинственную книгу в переплете с застежкой. Куда она потом девалась – никому не известно.

А первую просьбу Однорукого коменданта Николай Павлович все-таки повелел исполнить. Доселе в церковной ограде Петропавловского собора можно видеть мраморную плиту, обращенную изголовьем на север, прямо к стопам Петра Первого, покоящегося внутри храма, и на ней золотыми буквами высечено, что здесь покоится прах коменданта Петропавловской крепости генерала-адъютанта, генерала от инфантерии, Ивана Никитича Скобелева.

## Купол св. Исаакия Далматского

### I. Хорошая осень

Осень 1919 года была очень хороша на севере России. Особенно глубоко и сладко-грустно чувствовалась ее прохладная прелесть в скромной тишине патриархальной Гатчины. Здесь каждая улица обсажена двумя рядами старых густых берез, а длинная тенистая Баговутовская улица, пролегающая через весь посад, даже четырьмя.

Весною вся Гатчина нежно зеленеет первыми блестящими листочками сквозных берез и пахнет терпким веселым смолистым духом. Осенью же она одета в пышные царственные уборы лимонных, янтарных, золотых и багряных красок, а увядающая листва белостволых берез благоухает, как крепкое старое драгоценное вино.

Урожай был обилен в этом году по всей России. (Чудесен он был и в 20-м году. Мне непостижимо, как это не хватило остатков хлеба на 21-й год – год ужасного голода.) Я собственно вручную снял с моего огорода 236 пудов картофеля в огромных бело-розовых клубнях, вырыл много ядерной петровской репы, египетской круглой свеклы, остро и дико пахнувшего сельдерея, репчатого лука, красной толстой упругой грачовской моркови и крупного белого ребристого чеснока – этого верного противочинготного средства. Оставались неубранными лишь слабенькие запоздалые корешки моркови, которых я не трогал, дожидаясь пока они нальются и потолстеют.

Весь мой огород был размером в 250 квадратных сажен, но по совести могу сказать, потрудились я над ним весьма усердно, даже, пожалуй, сверх сил.

Зимой ходил с салазками и совочком – подбирали навоз. Мало толку было в этом жалком, сухом навозе – его даже воробьи не клевали. Помню, однажды, когда я этим занимался, проходила мимо зловредная старушенция, остановилась, поглядела и зашипела на меня: «Попили нашей кровушки. Будя». (Экий идиотский лозунг выбросила революция.) Собирали я очень тщательно зимою золу и пепел из печек. Достал всякими правдами и неправдами несколько горстей суперфосфата и сушеной бычьей крови. Пережигал под плитой всякие косточки и толлок их в порошок. Лазил на городскую колокольню и набрал там мешок голубиногo помета (сами-то голуби давно покинули наш посад, вместе с воронами, галками и мышами, не находя в нем для себя пропитания).

Тогда все, кто могли, занимались огородным хозяйством, а те, кто не могли, воровали овощи у соседей.

Труднее всего было приготовить землю под гряды. Мне помог милый Фома Хамилейнен из Пижмы. Он мне вспахал и взборонил землю. Я за это подарил ему довольно новую французскую пару (что мог сделать мой честный, добрый чухонец с этой дурацкой одеждой?) и собственно вручную выкопал для него из грунта 12 шестилетних яблонь. Я их купил три года тому назад в питомнике Регеля – Кесельринга. Сам посадил с любовью и ухаживал за ними с нежностью. Раньше, щадя их детский возраст, я им не давал цвести, обрывал цветения, но в этом году думал разрешить им первую роскошь и радость материнства, оставив по две-три яблочных завязи на каждой. Очень жалко было расставаться с яблоньками, но трезвый будничныи картофель настоятельно требовал для себя широкого места.

И ведь, как на грех, на соблазн, выдалась такая теплая, такая чудесная осень! На оставшихся у меня по границе огорода шести яблоньках-десятилетках, поздних сортов, плоды никогда еще не дозревали: их мы срывали перед морозами, закутывали в бумагу и прятали в шкаф до Рождества.

Теперь же на всех шести налились и поспели такие полные, крепкие, нарядные, безупречные яблоки, что хоть прямо на выставку.

А цветов в этом году мне так и не довелось посадить. Побывал раннею весною в двадцати присутственных местах Гатчины и Петрограда на предмет получения разрешения на отпуск мне семян из социализированного магазина, потратил уйму денег, времени и нервов на проезды и хлопоты, ничего не смог добиться и с озлоблением плюнул.

Простите, что я так долго остановился на этом скучном предмете и отрываюсь от него с трудом. Мне совсем не жалко погибшей для меня безвозвратно в России собственности: дома, земли, обстановки, мебели, ковров, пианино, библиотеки, картин, уюта и прочих мелочей. Еще в ту пору я понял тщету и малое значение вещей сравнительно с великой ценностью простого ржаного хлеба. Без малейшего чувства сожаления следил я за тем, как исчезали в руках мешочников зеркала, меха, портьеры, одеяла, диваны, шкафы, часы и прочая рухлядь. Деньги тогда даже не стоили той скверной бумаги, на которой они печатались.

Но, по правде говоря, я бы очень хотел, чтобы в будущей, спокойной и здоровой России был воздвигнут скромный общественный монумент не кому иному, как «мешочнику». В пору пайковых жмыхов и пайковой клюквы это он, мешочник, провозил через громадные расстояния пищевые продукты, вися на вагонных площадках, оседывая буфера или распластавшись на крыше теплушки; всегда под угрозой ограбления или расстрела. Конечно, не ему, а времени было суждено поправить хоть немного экономический кризис. Но кто же из великомучеников того времени не знает из горького опыта, как дорог и решителен для умирающей жизни был тогда месяц, неделя, день, порою даже час подтопки организма временной сытностью, отдыха. Я мог бы назвать много драгоценных для нашей родины людей, чье нынешнее существование обязано тяжелой предприимчивой жадности мешочника. Памятник ему!

Повторяю, мне не жаль собственности. Но мой малый огородашко, мои яблони, мой крошечный благоуханный цветник, моя клубника «Виктория» и парниковые дыни-канталупы «Женни Линд» – вспоминаю о них, и в сердце у меня острая горечь. Здесь была прелесть чистого, простого чудесного творчества. Какая радость устлать лучинную коробку липовым листом, уложить на дно правильными рядами большие ягоды клубники, опять перестлать листьями, опять уложить ряд и весь этот пышный, темно-красный душистый дар земли отослать в подарок соседу! Какая невинная радость – точно материнская.

Так, впрочем, бывало раньше. К середине 19-го года мы все, обыватели, незаметно впадали в тихое равнодушие, в усталую сонливость. Умирили не от голода, а от постоянного недоедания. Смотришь, бывало, в трамвае примостился в уголке утлый преждевременный старичок и тихо заснул с покорной улыбкой на иссохших губах. Станция. Время выходить. Подходит к нему кондукторша, а он мертв. Так мы и засыпали на полпути у стен домов, на скамеечках в скверах.

Как я проклинал тогда этот корнеплод, этот чертов клубень – картофель. Бывало, нарешь его целое ведро и отнесешь для просушки на чердак. А потом сидишь на крыльце, ловишь разинутым ртом воздух, как рыба на берегу, глаза косят, и все идет кругом от скверного головокружения, а под подбородком вздувается огромная гуля: нервы никуда не годятся.

Пропало удовольствие еды. Стало все равно, что есть: лишь бы не царапало язык и не втыкалось занозами в небо и десны. Всеобщее ослабление организмов дошло до того, что люди произвольно переставали владеть своими физическими отправлениями. Всякая сопротивляемость, гордость, смех и улыбка – совсем исчезли. В 18-м году еще держались малые ячейки, спаянные дружбой, доверием, взаимной поддержкой и заботой, но теперь и они распадались.

Днем гатчинские улицы бывали совершенно пусты: точно всеобщий мор пронесся по городу. А ночи были страшны. Лежишь без сна. Тишина и темнота, как в могиле. И вдруг одиночный выстрел. Кто стрелял? Не солдат ли, соскучившись на посту, поставил прицел и паль-

нул в далекое еле освещенное окошко? Или раздадутся подряд пять отдаленных глухих залпов, а затем минутка молчания и снова пять уже одиночных, слабых выстрелов. Кого расстреляли?

Так отходили мы в предсмертную летаргию. Победоносное наступление С[еверо]-З[ападной] Армии было подобно для нас разряду электрической машины. Оно гальванизировало человеческие полутрупы в Петербурге, во всех его пригородах и дачных поселках. Пробудившиеся сердца загорелись сладкими надеждами и радостными упованиями. Тела окрепли, и души вновь обрели энергию и упругость. Я до сих пор не устаю спрашивать об этом петербуржцев того времени. Все они, все без исключения, говорят о том восторге, с которым они ждали наступления белых на столицу. Не было дома, где бы не молились за освободителей, и где бы не держали в запасе кирпичи, кипятки и керосин на головы поработителям. А если говорят противное, то говорят сознательную, святую партийную ложь.

## II. Красная Армия

Мы все были до смешного не осведомлены о внешних событиях; не только мы, уединенные гатчинцы, но и жители Петербурга. В советских газетах нельзя было выудить ни словечка правды. Ничего мы не знали ни об Алексееве, ни о Корнилове, ни об операциях Деникина, ни о Колчаке. Помню, кто-то принес весть о взятии Харькова и Курска, но этому не поверили. Слышали порою с севера далекую орудийную пальбу. Нас уверяли, что это флот занимается учебной стрельбой. В мае канонада раздавалась с северо-запада и стала гораздо явственнее. Но тогда некого было спрашивать, да и было лень. Только полгода спустя, в октябре, я узнал, что это шло первое (неудачное) наступление С.-З. Армии на Красную Горку. Впрочем, в том же мае мне рассказывал один чухонец из Волосова следующее: к ним в деревню приехали однажды верховые люди в военной форме, с офицерскими погонами. Попросили дать молока, перед едой перекрестились на красный угол, а когда закусили, то отблагодарили хозяев белым хлебом, ломтем сала и очень щедро – деньгами. А садясь на коней, сказали: «Ждите нас опять. Когда приедем, то сшибем большевиков, и жизнь будет, как прежде».

Я, помню, спросил недоверчиво:

– Почему знать, может быть, это были большевицкие шпионы? Они теперь повсюду нюхают.

– Не снай. Може пионы, може, равда белые, – сказал чухонец.

Жить было страшно и скучно, но страх и скука были тупые, коровьи. На заборах висели правительственные плакаты, извещающие: «Ввиду того, что в тылу Р.С.Ф.С.Р. имеются сторонники капитализма, наемники Антанты и другая белогвардейская сволочь, ведущая буржуазную пропаганду, – вменяется в обязанность всякому коммунисту: усмотрев где-либо попытку опозорения советской власти и призыв к возмущению против нее, – расправляться с виновными немедленно на месте, не обращаясь к суду». Случаи такой расправы бывали, но, надо сказать правду, – редко. Но томили беспрестанные обыски и беспричинные аресты. Мысленно смерти никто не боялся. Тогда, мне кажется, довольно было поглубже и порешительнее затаить дыхание, и готов. Пугали больше всего мучения в подвале, в ежеминутном ожидании казни.

Поэтому старались мы сидеть в своих норах тихо, как мыши, чующие близость голодного кота. Высовывали на минуту носы, понюхать воздух, и опять прятались.

Но уже в конце ноября началось в Красной Армии и среди красного начальства какое-то беспокойное шевеление.

Приехал неожиданно эшелон полка, набранного в Вятке, и остановился за чертой посада в деревянных бараках. Все они были, как на подбор, такие же долговязые и плотные, такие же веселые и светло-рыжие, с белыми ресницами, как Шаляпин. Ладные сытые молодцы. Не знаю, по какой причине, им разрешили взять с собою по два или по три пуда муки, которую они в Гатчине охотно меняли на вещи. Мы пошли в их становище. Там было уже много народу. Меня тронуло, с каким участием расспрашивали они исхудавших, обносившихся, сморщенных жителей. Как сочувственно покачивали они головами, выразительно посвистывали на мотив: «Вот так фу-унт!» – и, сплюнув, говорили:

– Ах вы, бедные, бедные. До чего вас довели. Нешто так можно?

Потом их куда-то увезли. Но эти «вятские, ребята хватские» не пропали. Во второй половине октября они почти все вернулись в Гатчину, в рядах Белой Армии, в которую они перешли дружно, всем составом, где-то под Псковом. И дрались они лихо.

Вскоре после их отхода Гатчина вдруг переполнилась нагнанной откуда-то толпой отрепанных до последней степени, жалких, изможденных, бледных красноармейских солдат. Повидимому, у них не было никакого начальства, и о дисциплине они никогда не слышали. Они тотчас же расплозились по городу, в тщетных поисках какой-нибудь пищи. Они просили мило-

стыни, подбирали на огородах оставшуюся склизкую капустную хряпу и случайно забытые картофелины, продавали шейные кресты и нижние рубахи, заглядывали в давно опустелые помойные ямы. Были все они крайне удручены, запуганы и точно больны: вероятно, таким их душевным состоянием объяснялось то, что они не прибежали тогда к грабежу и насилию.

Недолго прожили они в Гатчине. Дня три. В одно ясное, прохладное утро кто-то собрал их в бесформенную группу, очень слабо напоминавшую своим видом походную колонну, и погнал дальше по Варшавскому шоссе.

Я видел это позорное зрелище, и мне хотелось плакать от злобы, жалости и бессилия: ведь как-никак, а все-таки это была русская армия. Ведь «всякий воин должен понимать свой маневр», а эти русские разнесчастные обманутые Иваны – понимали ли они хоть слабо, во имя чего их гнали на бойню?

Не оркестр шел впереди, не всадник красовался на серой лошади, и не знамя в футляре покачивало золотым острием высоко над рядами. Впереди тащилась походная кухня, разогретая на полный ход. Густой дым валил из ее трубы прямо назад и стлался низко над вооруженной ватагой, дразня ее запахом вареной капусты. О, зловещий символ!

И что это была за фантастическая, ужасная, кошмарная толпа! Согбенные старики и желтолицые чахоточные мальчуганы, хромые, в болячках, горбатые, безносые, не мывшиеся годами, в грязных тряпках, в ватных кофтах и жалких кацавейках, одна нога босиком, другая в галоше, всюду дыры и прорехи, ружья вверх и вниз штыками и иные волочатся штыками по земле. Уж не в Вяземской ли лавре<sup>9</sup> собралось это войско, которое проходило мимо нас с поднятыми носами и жадно раздувавшимися ноздрями?

На другой день мы снова слышали канонаду, на этот раз яснее, ближе и в новом направлении. Очевидно, теперь морская эскадра для своей учебной стрельбы переместилась на юго-запад от Гатчины. Но как будто в этом направлении нет моря?

К полудню этого же дня странная суматоха, какая-то загадочная беготня, тревожная возня началась во всегда пустых, безлюдных улицах Гатчины. Невиданные доселе, совсем незнакомые люди таскали взад и вперед сундуки, узлы, корзинки, чемоданы. Наехали в город окрестные мужики на пустых телегах. Бежали опрометью по мостовой какие-то испуганные рабы с вязанками соломы и с веревочными бунтами на плечах. Очевидно, кто-то переезжал или уезжал. Мне было неинтересно кто.

Но вечером мне понадобилось выйти из дома. На Соборной улице я встретился с одним чудачком. Он всегда рекомендовался густым басом, оттопыривая вбок локоть для рукопожатия и напряживая по-бычьей шею: учитель народной средней школы. Фамилии его я не знал. Он был, в сущности, неплохой малый, хотя и пил вежеталь<sup>10</sup> большими флаконами, каждый в одно дыхание.

Он подошел ко мне.

– Знаете, что случилось? Все советские выезжают нынче ночью спешно в Петроград.

– Почему?

– Кто их знает? Паника. Пойдемте, посмотрим.

На проспекте Павла I, на Михайловской и Бомбардирской улицах густо стояли груженные возы. Чего на них не было: кровати, перины, диваны, кресла, комоды, клетка с попугаем, граммофоны, цветочные горшки, детские коляски. А из домов выносили все новые и новые предметы домашнего обихода.

– Бегут! – сказал учитель. – Кстати, нет ли у вас одеколонцу Ралле, вспрыснуть счастливый отъезд?

---

<sup>9</sup> Вяземской лаврой иронически называлась местность рядом с Сенной площадью Петербурга, где были расположены питейные заведения и жилые углы для петербургской черни – обнищавших пьяниц и преступников.

<sup>10</sup> *Вежеталь* — жидкость на спирту с примесью парфюмерных веществ для смачивания волос.

– К сожалению, нету. Но как вы думаете, сколько же в Гатчине проживало большевиков? Смотрите – целый скифский обоз.

Учитель подумал.

– По моему статистическому расчету, включая челядь, жен, наложниц и детей, а также местных добровольцев и осведомителей – не менее четырехсот.

Колеса сцеплялись, слышалось шелканье кнута, женские крики, лай собак, ругань, детский плач. Пахло сеном, дегтем и лошадиной мочой. Темнело. Я ушел.

Но еще долго ночью, лежа в постели, я слышал, как по избитому шоссе тарахтели далекие телеги.

### III. Смерть и радость

На другой день, в прекрасное золотое с лазурью, холодное и ароматное утро, Гатчина проснулась тревожная, боязливая и любопытная. Пошли из дома в дом слухи... Говорили, что вчера была в ударном порядке сплавлена в Петербург только лишняя мелочь. Ответственные остались на местах. Совдеп и ЧК защищены пулеметами, а вход в них для публики закрыт. Однако советские автомобили всегда держатся наготове.

Говорили, что из Петербурга пришел приказ: в случае окончательного отступления из Гатчины взорвать в ней бомбами дворец, собор, оба вокзала и все казенные здания.

Уверяли, что в Гатчину спешит из Петербурга красная тяжелая артиллерия (и эта весть оказалась верной). Но болтали и много глупостей... Выдумали шведов и англичан, уже разрушивших Кронштадт и теперь делающих высадку на Петербургской стороне. И так далее.

Пушечные выстрелы доносились теперь с юга, откуда-то из Преображенской или даже с Сиверской. Они стали так ясны, четки и выпуклы, что казалось, будто стреляют в десяти, в пяти верстах.

За последние четыре года я как-то случайно сошелся, а потом и подружился с одним из постоянных гатчинских отшельников. Это был когда-то властный и суровый редактор очень влиятельного большого журнала. Теперь он проживал стариком на покое в гатчинской тишине и зелени; заметно присмирел и потеплел, да, в сущности, и в свою боевую пору он только носил постоянную маску строгости, а на самом деле был добрейшим человеком, только этого журнальные люди не умели раскусить. Он мне давал читать свои переводы древних писателей и особенно пленил меня Лукианом, Эпиктетом и Марком Аврелием. Он не скучал со мной, а для меня беседы с ним были всегда занимательны и поучительны. Что же? Почему так стыдно человеку признаться в том, что он всегда, даже до глубокой старости, рад пополнять недостаток знания?

Я узнал также, что С., весьма скупой на комплименты и душевные излияния, относился ко мне с большим доверием – узнал, однако, по очень печальному и тяжелому поводу и, конечно, не от него.

Два его сына – Николай и Никита – оба ушли на Великую войну. Первый, как кадровый офицер в самом начале войны, второй – охотником в конце 1916 года. Оба погибли: один от тяжелого ранения, другой от тифа, через малый промежуток времени.

В одном из первых месяцев 1917 года я получил письмо от человека, которого я не знал лично. Он был товарищем Никиты дважды: по гатчинскому реальному училищу и потом по артиллерийскому дивизиону. Меня-то он, конечно, знал. В маленьком провинциальном посаде я весь был на юру, вместе с моими собаками, лошадью, медведем, обезьяной, участием во многих вечерах и концертах и кое-какими приключениями.

Он писал мне о смерти обоих братьев. О том, что лично он не решается известить об этих ужасных событиях престарелого отца, потому что сам видал его пламенную, трепетную, безумную любовь к сыновьям. В конце концов, он трогательно просил меня взять это очень сложное дело на мое разрешение, совесть и умение. Старик отец, по его словам, не раз писал Никите обо мне в тоне добром и доверчивом. Я решил промолчать. И в самом деле, что было бы лучше: убить милого, обаятельного старика жестокой правдой или оставить его в решительном чаянии и неведении?

И я молчал почти два года.

Это было нелегко. С. иногда глядел на меня такими пронизательными, спрашивающими глазами, будто догадывался, что я о чем-то важном осведомлен, но не хочу, не могу сказать.

Особенно тяжело было скрывать эту тайну в те последние дни, о которых я сейчас пишу.

Каждый день перед полуднем старик заходил за мною. Мы шли на железнодорожный Варшавский путь и долго простаивали там, прислушиваясь к пушечной все крепнувшей пальбе, глядя туда, на юг, вслед убегающим, суживающимся, блестящим рельсам. Порою он говорил мечтательно:

– Дорогой друг мой. Завтра, послезавтра придут англичане (оказывается, и он верил в англичан) – и принесут нам свободу. А с ними придут мои Коля и Никитушка. Загорелые, басистые, в поношенных боевых мундирах, с сияющими глазами. Они принесут нам белого вкусного хлеба. И английского сала, и шоколаду. И немного виски для вас. Я буду так рад представить вам молодых героев.

И опять мы всматривались в убегающую даль, точно приюхиваясь за десятки верст к запаху порохового дыма.

Не дождался бедный, славный С. – ни своих милых сыновей, ни даже прихода Северо-Западной Армии. Он умер за два дня до взятия Гатчины. А письмо Никитинового товарища так и осталось лежать у меня в американском шкафчике. Тот, кто живет теперь в моем доме, если и нашел его, то, наверное, бросил в печку. А если и отнес его на рассмотрение тому, кому это надлежит, – я спокоен. Никого в живых из семьи С. (мир его праху) не осталось.

И еще одна смерть.

Рядом с нами, еще в дореволюционное время, город построил хороший двухэтажный дом для призрения старух. Большевики, завладев властью, старушек выкинули в один счет на улицу, а дом напихали малолетними пролетарскими детьми. Заведовать же их бытием назначили необыкновенную девицу. Она была уже немолода, со следами бывшей роковой красоты, иссохшая в дьявольском огне неудовлетворенных страстей и неудач, с кирпично-красными пятнами на скулах и черными глазами, всегда горевшими пламенем лютой злобы, зависти и властолюбия. Я не мог выдерживать ее пристального ненавистнического взгляда.

Как она смотрела за детьми, видно из того, что однажды вся ее детвора объелась какой-то ядовитой гадостью. Большинство захворало, одиннадцать детей умерло. Трупы было приказано доставить ночью в мертвецкую при госпитале, залить известью и вынести за город. Об этом рассказывал Федор, служивший раньше у меня дворником, философ, пьяница, безбожник, кривой на один глаз и мастер на все руки. Особенно влекло его к профессиям отчаянным. Он работал на собачьей свалке, ловя и убивая бродячих собак, служил в ассенизационном обозе, а потом поступил сторожем в мертвецкую; в промежутках же брался за всякую работу. Он-то и рассказывал мне о том, как приходили к нему ночью матери отравленных детишек, и как он, Федор, выдавал опознавшим трупы этих детей, беря по сто рублей за голову. Цена небольшая, но денатурат был сравнительно не дорог.

Как-то раз к нам во двор забежала девочка из этого приюта, лет двенадцати, но вовсе карлица, в старушечьем белом платочке и с лицом печальной, больной старушки. Она рылась в помойке.

Нам удалось побороть ее одичалость, кое-как помыть ей руки и рожицу и покормить тем, что было дома. Звали ее Зина. У нас она немножко облуднела. Пришла еще раз и еще, а потом даже привела с собою шершавого веснушчатого мальчугана, осиплого и дикого, как волчонок.

Но однажды едва она вошла в калитку, как за нею следом бешеной фурией ворвалась надзирательница. Ее страшные глаза «метали молнии». Она схватила девочку-старушку за руку и поволокла ее с той деспотической небрежностью, с какой злые дети таскают своих несчастных изуродованных кукол. И она при этом кричала на нас в таком яростном темпе, что мы не могли бы, если бы даже и хотели, вставить ни одного слова:

– Буржуи! Кровопийцы! Сволочь! Заманивают малолетних с гнусными целями! Когда вас перестреляют, паршивых сукиных детей!

И все в том же мажорном тоне.

Потом прошло с полмесяца. Как-то утром я стоял у забора. Вижу, надзирательница толкает по мостовой большую тачку, а на ней небольшой гробик, наскоро сколоченный из шелевок. Я понял, что тащила она детский трупик на кладбище, чтобы свалить в общую яму, без молитвы и церковного напутствия.

Но как раз перед моими воротами колесо тачки неудобно наскочило на камень.

От толчка живые швы гроба разошлись, и из него выглянуло наружу белое платье и тоненькая желтая ручка. Надзирательница беспомощно оглядывалась по сторонам.

Я крикнул ей:

– Погодите, сейчас помогу.

Захватил в доме гвоздей, молоток и кое-как, неумело, криво, но прочно, заколотил гроб. Вбивая последний гвоздь, спросил:

– Это не Зина?

Она ответила, точно злая сучка брехнула:

– Нет, другая стерва. Та давно подохла.

– А эту как звать?

– А черт ее знает!

И влегла в тачку всем своим испепеленным телом.

Я только подумал про себя: «Успокой, Господи, душу неизвестного младенца. Имя его Ты Сам знаешь».

Другой женщине я бы непременно помог довести гроб, хотя бы до шоссе...

Много еще было невеселого. Ведь каждый день нес с собою гадости. Но теперь во мне произошел какой-то легкий и бодрый поворот.

Пушки бухали все ближе, а с их приближением сникла с души вялая расслабляющая тоска, бессильное негодование, вечный зелено-желтый противный рабий страх. Точно вот кто-то сказал мне: «Довольно. Все эти три года были дурным сном, жестоким испытанием, фантазией сумасшедшего. Возвращайся же к настоящей жизни. Она так же прекрасна, как и раньше, когда ты распевал ей благодарную хвалу».

Сидел я часто на чердаке, на корточках, счищал сухую грязь с картофелин и размышлял: если учесть налипшую землю да еще то, что клубни подсохнут, то 36-ти пудов не выйдет. А все-таки по три фунта в день наберется, по фунту на персону. Это громадный запас. Только уговор умеренно делать широкие жесты.

И в то же время я пел диким радостным голосом чью-то нелепую песенку на собственный идиотский напев:

Тра-ля-ля, как радостно,  
На свете жить так сладостно;  
И солнышко блестит живею,  
Живей и веселей...

## IV. Яша

Когда вошел славный Талабский полк в Гатчину – я точно не помню; знаю только, что в ночь на 15, 16 или 17 октября. Я еще подумал тогда, что дни второй половины октября часто были роковыми для России.

Накануне этого дня пушечные выстрелы с юга замолкли. Город был в напряженном, тревожном, но бодром настроении. Все ждали чего-то необычайного и бросили всякие занятия.

Перед вечером – еще не смеркалось – я наклал в большую корзину корнеплодов, спустив их пышную ботву снаружи: вышел внушительный букет, который предназначался в презент моему старому приятелю-еврею за то, что тот изредка покупал мне в Петербурге спирт.

Да, надо сознаться, все мы пили в ту пору контрабандой, хотя запретное винокурение и грозило страшными карами, до расстрела включительно. Да и кто бы решился укорить нас? Великий поэт и мудрец Соломон недаром приводит в своих притчах наставление царю Лемуилу, преподанное ему его матерью:

«Не царям, Лемуил, не царям пить вино, и не князьям сикеру<sup>11</sup>».

«Дайте сикеру погибающему и вино – огорченному душою».

«Пусть он выпьет и забудет бедность свою, и не вспомнит больше о своем страдании».

Когда я пришел к нему на Николаевскую, все домашние сидели за чайным столом. Хозяина уже третий день не было дома, он завертелся по делам в Питере. Но его стул на привычном патриаршем месте, по старинному обычаю, оставался во все время его отсутствия незанятым: на него никому не позволяли садиться. (Впрочем, и в крепких старинных русских семьях кое-где хранится этот хороший завет.) Был там какой-то дальний родственник, приехавший две недели назад из глухой провинции – седой, худой, панический человек. Он все хватался за голову, утомляя всех своими жалобами и страхами, ныл, как зубная боль, распространяя вокруг себя кислоту и уныние.

Был еще немного знакомый мне мальчик, Яша Файнштейн. Он носил мне тетрадки своих стихов на просмотр и оценку. Муза его была жалка, совсем безграмотна, беспомощна, ровно ничего не обещала в будущем, питалась гражданскими мотивами. Но в самом мальчике была внутренняя деликатность и какая-то сердечная порывистость.

Он блуждал по комнате, низко склонив голову и глубоко засунув руки в брючные карманы. Разговор, по-видимому, иссяк еще до меня и теперь не клеился.

Через полчаса притащился очень усталый хозяин... Увидев мою свадебную корзину, он слегка улыбнулся, кивнул мне головой и сказал:

– Только двести, – он говорил о количестве граммов. – Вам следует сдачи.

Потом он стал говорить о Петербурге.

Там беспокойно и жутко. По улицам ходят усиленные патрули красноармейцев, носятся сломя головы советские автомобили.

Обыски и аресты увеличились вдвое. Говорят шепотом о близости белых частей...

Поезд, на котором он возвращался домой, доехал только до Ижоры. Станционное начальство велело всем пассажирам очистить его. Из Петербурга пришла телеграмма о совершенном прекращении железнодорожного движения и о возвращении этого поезда назад – в Петербург.

Пассажиры пошли в Гатчину пешком, узкими малоизвестными дорогами. С ними шел мой добрый партнер в преферанс и тезка – А.И. Лопатин, но, по своему всегдашнему духу противоречия, шел, не держась кучки, какими-то своими тропинками. Вдруг идущие услышали его отчаянный пронзительный вопль, на довольно далеком расстоянии. Потом в другой раз, в

<sup>11</sup> *Сикера* — общее название любого алкогольного напитка, кроме виноградного вина, – пива, сидра, пальмового вина и т. п. Встречается часто в Библии.

третий. Кое-кто побежал на голос. Но Лопатина не могли сыскать. Да и невозможно было. Путь преграждала густая вонючая трясина. Очевидно, бедный Лопатин попал в нее и его засосало.

Что-то еще незначительное вспоминал хозяин из новых столичных впечатлений, и вдруг... молчавший доселе Яша взвился на дыбы, точно его ткнули шилом.

– Стыдно! Позор! Позор! – закричал он визгливо и взмахнул вверх руками, точно собирався лететь. – Вы! Еврей! Вы радуетесь приходу белых! Разве вам изменила память? Разве вы забыли погромы, забыли ваших замученных отцов и братьев, ваших изнасилованных сестер, жен и дочерей, поруганные могилы предков?

И пошел, и пошел кричать, потрясая кулаками. В нем было что-то эпилептическое.

С трудом его удалось успокоить. Это с особенным тактом сделала толстая, сердечная, добродушная хозяйка.

Вышли мы вместе с Яшей. Он провожал меня. На полпути он завел опять коммунистический валик. Я не возражал.

– Все вы скучаете по царю, по кнуту, по рабству. И даже вы – свободный писатель. Нет, если придет белая сволочь, я влезу на пожарную колонну и буду бичевать оттуда oprичников и золотопогонников словами Иеремии. Я не раб, я честный коммунист, я горжусь этим званием.

– Убьют, Яша.

– Пустяки. В наши великие дни только негодяи боятся смерти.

– Вспомните о своих братьях евреях. Вы накличете на них грозу.

– Плевать. Нет ни еврейского, ни русского народа. Вредный вздор – народ. Есть человечество, есть мировое братство, объединенное прекрасным коммунистическим равноправием. И больше ничего! Я пойду на базар, заберусь на крышу, на самый высокий воз и с него я скажу потрясающие гневные слова!

– До свидания, Яша. Мне налево, – сказал я.

– До свидания, – ответил он мягко. – Простите, что я так разволновался.

Мы расстались. Больше я его никогда не видел. Судьба подслушала его.

Я спал мало в эту ночь, но увидел прекрасный незабвенный сон.

На газетном листе я летал над Ялтой. Я управлял им совсем так, как управляют аэропланом. Я подлетал к вершине Ай-Петри. Подо мной лежал Крым, как выпуклая географическая карта. Но, огибая Ай-Петри, я коснулся об утес краем моего аппарата и ринулся вместе с ним вниз.

Проснулся. Сердце стучало, за окном серо синел рассвет.

## У. Тяжелая артиллерия

Встал я, по обыкновению, часов около семи, на рассвете, обещавшем погожий солнечный день, и, пока домашние спали, потихоньку налаживал самовар.

Этому мирному искусству – не в похвалу будь мне сказано – я обучился всего год назад, однако скоро постиг, что в нем есть своя тихая уютная прелесть.

И вот только что разгорелась у меня в самоваре лучина, и я уже готовился наставить коленчатую трубу, как над домом ахнул круглый, плотный пушечный выстрел, от которого задребезжали стекла в окнах, и загрохотала по полу уроненная мною труба. Это было посерьезнее недавней отдаленной канонады.

Я снова наладил трубу, но едва лишь занялись и покраснели угли, как грянул второй выстрел. Так и продолжалась пальба весь день до вечера, с промежутками минут от пяти до пятнадцати.

Конечно, после первого же выстрела весь дом проснулся. Но не было страха, ни тревоги, ни суеты. Стоял чудесный ясный день, такой теплый, что если бы не томный запах осыпающейся листвы, то можно было бы вообразить, что сейчас на дворе конец мая.

Ах, как передать это сладостное ощущение опьяняющей надежды, этот радостный молодой озноб, этот волнующий позыв к движению, эту глубину дыхания, это внутреннее нетерпение рук и ног.

Мы скоро узнали, что стреляет из Гатчины тяжелая артиллерия красных (слухи не соврали, ее все-таки привезли из Петербурга). Говорили, что установлены были орудия частью около обелиска, воздвигнутого Павлом I и названного им «коннетаблем<sup>12</sup>», частью на прежнем авиационном поле. Они бухали без передышки. Но белые молчали.

Кажется, достаточно было поводов для домашней тревоги. Но – диковинная вещь уверенность или вера, или жажда веры! Это чувство идет не от уст к устам, не по линии, даже не по плоскости. Оно передается в трех измерениях, а почему знать, может быть, и в четырех. Мне никогда не забыть этих часов беспечного доверия в жизни и ощущения на себе спокойной благосклонности синего неба.

Или мы все уже так отчаянно застряли в поганом погребе, где нет света и ползают мокрицы, что обрадовались допьяна тоненькому золотому лучику, просочившемуся сквозь муравьиную скважину?

Я не знал, куда девать время, так нестерпимо медленно тянувшееся. Я придумал сам для себя, что очень теперь необходимо вырывать из грядок оставшуюся морковь. Это было весело. Корни разрослись и крепко сидели в сухой земле. Уцепишься пальцами за головку и тянешь: нет сил. А как бахнет близкий пушечный выстрел и звякнут стекла, то поневоле крякнешь и мигом вытащишь из гряды крупную толстую красную морковину. Точно под музыку.

Не сиделось десятилетней дочери. Она, зараженная невольным общим сжатием волнением и возбужденная красивыми звуками пушек, с упоением помогала мне, бегая с игрушечным ведром из огорода на чердак и обратно. Время от времени она попадала в руки матери, и та, поймав ее за платье, тащила в дом, где уже успела забаррикадировать окна тюфяками, коврами и подушками. Но девочка, при первой возможности, улизывала опять ко мне. И так они играли до самого вечера.

Куда била Красная Армия – я не мог сообразить: я не слышал ни полета снарядов, ни их разрывов. Только на другой день мне сказали, что она обстреливала не Варшавскую, а Балтийскую дорогу. Вкось от меня.

---

<sup>12</sup> *Коннетабль* — высшая военная государственная должность в средневековом Французском королевстве.

Белые молчали, потому что не хотели обнаружить себя. Их разведка выяснила, что путь на Гатчину заслонен слабо. И надо еще сказать, что Северо-Западная Армия предпочитала опасные ночные операции дневным. Она выжидала сумерек.

И вот незаметно погустел воздух, потемнело небо. На западе протянулась узенькая семговая полоска зари.

Глаз перестал различать цвет моркови от цвета земли.

Усталые пушки замолкли.

Наступила грустная, тревожная тишина.

Мы сидели в столовой при свете стеаринового огарка – спать было еще рано – и рассматривали от нечего делать рисунки в словаре Брокгауза и Ефрона.

Дочка первая увидела в черном окне зарево пожара. Мы раздвинули занавески и угадали без ошибки, что горит здешний совдеп, большое, старое, прекрасное здание с колоннами, над которым много лет раньше развевался штандарт, и где жили из года в год потомственно командиры синих кирасир<sup>13</sup>.

Дом горел очень ярко. Огненно золотыми тающими хлопьями летали вокруг горящие бумажки.

Мы поняли, что комиссары и коммунисты и все красные покинули Гатчину.

Девочка расплакалась: не выдержали нервы, взбудораженные необычайным днем и никогда не виданным жутким зрелищем ночного пожара. Она все уверяла нас, что сгорит весь дом, и вся Гатчина, и мы с нею.

Насилу ее уложили спать, и долго еще она во сне горько всхлипывала, точно жаловалась невидимому для нас кому-то очень взрослому.

---

<sup>13</sup> В Гатчине до 1917 г. стоял гвардейский Кирасирский полк, мундиры которого были из синего сукна.

## VI. «Дома ль маменька твоя»

Я курил махорку и перелистывал в Брокгаузе прекрасные политипажи: костюмы ушедших сто- и тысячелетий. Жена чинила домашнее тряпье. Мы оба – я знал – молча предчувствовали, что вот-вот в нашей жизни близится крупный перелом.

Души были ясны и покорны. Мы никогда в эти тяжелые годы и мертвые дни не пытались обогнать или пересилить судьбу.

Доходили до нас слухи о возможности бежать из России различными путями. Были и счастливые примеры, и соблазны. Хватило бы и денег. Но сам не понимаю, что: обостренная ли любовь и жалость к родине, наша ли общая ненависть к массовой толкотне и страх перед нею, или усталость, или темная вера в фатум – сделали нас послушными течению случайностей; мы решили не делать попыток к бегству.

Иногда, правда шутя, мы с маленькой путешествовали указательным пальцем по географической карте.

Евсевия еще помнила, смутно, бирюзовое побережье Ниццы и – гораздо отчетливее – вкусные меренги из кондитерской Фозера в Гельсингфорсе<sup>14</sup>. Я же рассказывал ей – о Дании по Андерсену, об Англии по Диккенсу, о Франции по Дюма-отцу.

В пылком воображении мы посетили все эти страны неоднократно. Судьбе было угодно показать нам их в яви, почти не требуя от нас никаких усилий для этого. Утверждаю, если человек бесцельно, беззлобно и беззаботно мечтает о невинных пустяках, то они непременно сбудутся, хотя бы и в очень уменьшенных размерах...

Кроме того, мы, голодные, босые, голые, сердечно жалели эмигрантов. «Безумцы, – думали мы, – на кой прах нужны вы в теперешнее время за границей, не имея ни малейшей духовной опоры в своей родине? Куда вас, дурачков, занесли страх и мнительность?»

И никогда им не завидовали. Представляли их себе вроде гордых нищих, запоздало плачущих по ночам о далеком, милом, невозвратном отчете дома и грызущих пальцы.

Вдруг по низкой крыше нашего одноэтажного домика прокатился и запрыгал железный горох... Застрекотал вдали пулемет. Ясно было: стреляют в самой Гатчине или на ближних окраинах. Мы переглянулись. Одно и то же воспоминание мелькнуло у нас.

В мае 1914 года, в Гатчине на Варшавском пути, чья-то злая рука подожгла огромный поезд, груженный артиллерийскими снарядами. Всего взорвалось последовательно тринадцать вагонов. Но так как снаряды рвались не сразу вагонами, а часто-часто, один за другим, то эта музыка продолжалась с трех часов утра до семи. До нас долетала шрапнельная начинка и развороченные шрапнелью стаканы, уже на «излете». Опасности от них большой не было. Нужно было только не высовываться из дома. На наших глазах один стакан (а в нем фунтов восемь, десять) пробил насквозь железный тамбур над сенями, другой сшиб трубу с прачечной, третий снес с замечательной ловкостью верхушку старой березы. Шрапнельная дробь все время, как град, стучала по крыше. Мы потом насобирали полное лукошко этих веских свинцовых шариков величиною с вишню.

Наш дом тогда очень мало пострадал. Гораздо больше досталось художнику М., дом которого стоял у самого пути, шагах в пятидесяти от рельсов. Снаряды пробивали насквозь марсельскую черепицу и падали на чердак. Художник потом насчитал 80 пробоин. Человеческая жертва была одна: убило стаканом какую-то старушку на Люцевской улице.

Но у нас была забота посерьезнее материального ущерба. В то время в нашем доме помещался маленький лазарет, всего на десять раненых солдат. Он всегда бывал полон, хотя, конечно, состав его менялся. На этот раз десятка была, как на подбор, самая душевная, удалая

---

<sup>14</sup> Ныне Хельсинки.

и милая. Все наши заботы о них солдаты принимали с покровительственным добродушием старших братьев. Тон установился серьезный и деловой; в отношениях – суровая и тонкая деликатность. Только в минуты прощания, перед возвращением на фронт, в грубой простоте раскрывались на минутку, тепло и светло, человеческие сердца. Да еще в легких мелочах сказывалась скрытая, не болтливая дружба. Но я, кажется, уклоняюсь в сторону. Пусть расскажет когда-нибудь Н.Н. Кедров о том, как чутко слушали у нас солдаты его чудесный квартет, как широко и свободно благодарили, как глубоко и умно понимали красоту русской песни, восстановленной в строжайших формах, очищенной, как от ржавчины, от небрежности и плохого вкуса. Настоящими добрыми хозяевами тогда показывали себя солдаты... А как они слушали Гоголя!

Но в тот день с ними сладу не было. Они рвались вон из лазарета, в халатах, в туфлях, без шапок, как были.

– Сестра! Сестрица! Да пустите же. Ведь надо расцепить поезд. Ведь страшного ничего. Пустое дело.

И не будь крепких невидимых вожжей в руках маленькой женщины, конечно, все десятеро удрали бы на вокзал расцеплять поездной состав. Кстати, он и был потом расцеплен. Это сделал тринадцатилетний мальчуган, сын стрелочника. Он спас от взрыва девять двойных платформ, нагруженных снарядами для тяжелых орудий.

Я ведь почему об этом говорю. Я допускаю, что все эти дорогие моему сердцу, чудесные солдаты: Николенко, Балан, Дисненко, Тузов, Субуханкулов, Курицын, Буров и другие – могли быть потом вовлечены мутным потоком грязи и крови в нелепую «борьбу пролетариата». Но русскому человеку вовсе не мудрено прожить годы разбойником, а после внезапно раздать награбленное нищим и, поступив в монастырь, принять схиму.

Прострочил пулемет и затих. Тотчас же, где-то в ином месте, неподалеку, заработал другой. Остановился. Коротко, точно заканчивая перебранку, плюнул в последний раз дробью и тоже замолк.

И долго стояла такая тишина, что только в ушах звенело, да потрескивал слабо фитиль свечки. И вот где-то далеко-далеко раздалась и полилась солдатская песня. Я знал ее с моих кадетских времен. Не слышал ее года уже три, но теперь сразу признал. И как будто улавливая слова, сам запел потихонечку вместе с нею:

Из-под горки, да из-под крутой  
Ехал майор молодой.  
Держал Сашу под полой,  
Не под левой, под правой.  
Держал Сашу под полой,  
С Машей здоровствовался:  
– Здравствуй, Маша.  
Здравствуй, Даша,  
Здравствуй, милая Наташа,  
Здравствуй, милая моя,  
Дома ль маменька твоя?  
– Дома нету никого,  
Полезай, майор, в окно. —  
Майор ручку протянул...

Жена, пробывшая всю японскую войну под огнем и знавшая солдатские песни, засмеялась (после какого длинного промежутка!).

– Ну, уж это, конечно, поют не красные. Иди-ка спать. Завтра все узнаем.

Я лег и, должно быть, уже стал задремывать... как вдруг вся земля подпрыгнула и железным голосом крикнула на весь мир:

– Д о н н!

Но не было страшно. Мгновенно и радостно я утонул в глубоком, впервые без видений сне.

## VII. Шведы

Повторяю: точных чисел я не помню. Не так давно мы с генералом П.Н. Красновым вспоминали эту быль, отошедшую от нас в глубину семи лет, и наши даты значительно разошлись. Но сама-то быль сначала была похожа на прекрасную сказку.

Кто из русских не помнит того волшебного, волнующего чувства, которое испытываешь, увидев утром в окне первый снег, нападавший за ночь!.. Описать это впечатление в прозе невозможно. А в стихах это сделал с несравненной простотой и красотой Пушкин.

Вот такое же чувство простора, чистоты, свежести и радости я испытывал, когда мы вышли утром на улицу. Был обыкновенный солнечный, прохладный осенний день. Но душа играла и видела все по-своему. Из дома напротив появилась наша соседка г-жа Д., пожилая и очень мнительная женщина. Поздоровались, обменялись вчерашними впечатлениями. Г-жа Д. все побаивалась, спрашивала, можно ли, по нашему мнению, безопасно пройти в город, к центру.

Мы ее успокаивали. Как вдруг среди нас как-то внезапно оказалась толстая, незнакомая, говорливая баба. Откуда она взялась, я не мог себе представить.

– Идите, идите, – затараторила она, оживленно размахивая руками. – Ничего не бойтесь. Пришли, поскидали большевиков и – никого не трогают!

– Кто пришли-то, милая? – спросил я.

– А шведы пришли, батюшка, шведы. И все так чинно, мирно, благородно, по-хорошему.

Шведы, батюшка.

– Откуда же вы узнали, что шведы?

– А как же не узнать? В кожаных куртках все... железные шапки... Большевицкие объявления со стен сдирают. И так-то ругаются, так-то ругаются на большевиков!

– По-шведски ругаются?

– Какое по-шведски! Прямо по-русски, по-матерну, да так, что на ногах не устоишь. Так-то, да разэтак, да этак-то...

И посыпала, как горохом, самым крутым и крупным сквернословием, каким раньше отличались волжские грузчики и черноморские боцманы и какое ныне так легко встретить в советской литературе. Уж очень в задор вошла умиленная баба. Мы трое стояли, не смея глаз поднять друг на друга.

– Говорю вам, шведы!

Отвязались от нее. Пошли дальше. На правом углу Елизаветинской и Баговутовской, около низенького зеленого, точно игрушечного пулемета, широко расставив ноги, в кожаной куртке и с французским шлемом на голове торчал чистокровный швед Псковской губернии. Был он большой, свежий, плотный, уверенный в себе, грудастый. Его широко расставленные зоркие глаза искрились умом и лукавой улыбкой.

Увидав меня через улицу (на мне были защитного цвета короткое пальто и мохнатая каскетка), он весело мотнул мне головой и крикнул:

– Папаша! Вам бы записаться в армию.

– Затем и иду, – ответил я. – Это где делается?

– А вона. Где каланча. Да поглядите, сзади вас афишка.

Я обернулся. На стене было приклеено белое печатное объявление. Я прочитал, что жителям рекомендуется сдать имеющееся оружие коменданту города, в помещении полиции. Бывшим офицерам предлагается явиться туда же для регистрации.

– Ладно, – сказал я. И не утерпел, чтобы не поточить язык: – А вы сами пскопские будете?

– Мы-то? Пскопские.

– Скобари, значит?

– Это самое. Так нас иногда раздражают.

Все просторное крыльцо полицейского дома и значительная часть площади были залиты сплошной толпой. Стало немного досадно: не избежать долгого ожидания очереди, а терпения в этот день совсем не было у меня в запасе.

Но я не ждал и трех минут. В дверях показался расторопный небольшого роста юноша, ловко обтянутый военно-походной формой и ремнями светлой кожи.

– Нет ли здесь г. Куприна? – крикнул он громко.

– Я!

– Будьте добры, пожалуйста за мною.

Он помог мне пробраться через толпу и повел меня какими-то нижними лестницами и коридорами. Меня удивляло и, по правде сказать, немного беспокоило: зачем я мог понадобиться. Совесть моя была совершенно чиста, но в таких случаях невольно делаешь разные возможные предположения. Я же, как ни старался, не мог придумать ни одного.

Он привел меня в просторную полуподвальную комнату. Там сидел за письменным столом веснушчатый молодой хорунжий; что он казак, я угадал по взбитому над левым ухом лихому чубу (казаки его называют «шевелюр», ибо на езде он задорно шевелится). Ходил взад и вперед инженерный офицер в светло-сером пальто. И еще я увидел стоящего в углу моего хорошего знакомого, Иллариона Павловича Кабина, в коричневом френче и желтых шнурованных высоких сапогах, очень бледного, с тревожным усталым лицом. Офицер сказал ему:

– Я попрошу вас удалиться в другую комнату и там подождать.

Потом он подошел ко мне. Он был вовсе маленького роста, но полненький и щеголеватый, в своей прежней довоенной, саперной форме, весь туго подтянутый, с светло-стальными глазами в очках. Он назвал мне свою фамилию и сказал следующее:

– Я извиняюсь, что вызвал вас по тяжелому и неприятному обстоятельству. Но что делать? На войне, а в особенности гражданской, офицеру не приходится выбирать должностей и обязанностей, а делать то, что прикажут. Я должен вас спросить относительно этого человека. Я заранее уверен, что вы скажете мне только истину. Предупреждаю вас, что каждому вашему показанию я дам безусловную веру. В каких отношениях этот человек, г. Кабин, находился или находится к советскому правительству? Дело в том, что я сейчас держу в руках его жизнь и смерть... Здесь контрразведка.

О, как мне сразу стало легко. Я действительно мог сказать и сказал о Кабине только хорошее.

Да, он был комиссаром по охране Гатчинского дворца и его чудесного музея. Но такими же комиссарами назывались и пришедшие потом на его место граф Зубов и г. Половцев, чьи имена и убеждения выше всяких сомнений. Впоследствии он был комиссаром по собиранию и охранению полковых музеев и очень многое спас от расхищения. Кроме же этого, он всего неделю назад показал себя и порядочным человеком и хорошим патриотом. В его руки, путем взаимного доверия, попали портфели Великого Князя с интимной, домашней перепиской. Боясь обыска, он пришел ко мне за советом: как поступить ему. Так как меня тоже обыскивали не раз, а мешать сюда еще кого-либо третьего мне казалось безрассудным, то я предложил эту корреспонденцию сжечь. Так мы и сделали. Под разными предложениями услали его жену, двух стариков и четырех детей из дома и растопили печку. Ключа не было, пришлось взломать все двадцать четыре прекрасных сафьяновых портфеля и сжечь не только всю переписку, но и тщательно вырезать из углов золототисненные инициалы и короны и бросить их в печку. Согласитесь – поступок не похож на большевистский.

– Очень благодарю вас за показание, – сказал поручик Б. и потряс мне руку. – Всегда отраднее убедиться в невинности человека.

(Он вообще был немного аффектирован.)

– Г. Кабин! Вы свободны, – сказал он, распахивая дверь. – Позвольте пожать вашу руку.

Прощаясь с ним, я не удержался от вопроса:

– Кто вам донес на Кабина?

Б. поднял руки к небу.

– Ах, Боже мой! Еще с пяти часов утра нас стали заваливать анонимными доносами.

Видите, на столе какая куча. Ужасно.

В коридоре Кабин кинулся мне на шею и обмочил мою щеку.

– Я не ошибся, сославшись на вас. Вы – ангел, – бормотал он. – Ах, как хотел бы я в серьезную минуту отдать за вас жизнь...

Тогда ни он, ни я не предвидели, что такая минута настанет, и что она совсем недалеко.

## VIII. Широкие души

Когда я выбрался боковым выходом из полицейского подземелья на свет Божий, то был приятно удивлен. В соборе радостно звонили уже год молчавшие колокола (церковный благовест был воспрещен советской властью). Кроткие обыватели подметали тротуары или, сидя на карачках, выщипывали полуувядшую травку, давно выросшую между камнями мостовой (проснулось живучее, ничем неистребимое чувство собственности). Над многими домами развеялся национальный флаг: Белый – Синий – Красный. «Что за чудо, – подумал я. – Большевики решительно требовали от нас, чтобы мы, в дни их торжеств, праздников и демонстраций, непременно украшали жилища снаружи кусками красной материи. Нахождение при обыске национального флага, несомненно, грозило чекистским подвалом и, почти наверное, расстрелом. Какая же сила, какая вера, какое благородное мужество и какое великое чаяние заставляли жителей хранить и беречь эти родные цвета!»

Да, это было трогательно. Но когда я тут же вспомнил о виденной мною только что горе анонимных доносов, которые обыватели писали на своих соседей, то должен был признаться самому себе, что я ничего не понимаю. Или это та широкая душа, которую хотел бы сузить великий писатель?

И сейчас же, едва завернув за угол полицейского дома, я наткнулся на другой пример великодушия.

Шло четверо местных учителей. Увидя меня, они остановились. Лица их сияли.

Они крепко пожимали мою руку. Один хотел даже облобызаться, но я вовремя закашлялся, закрыв лицо рукою. «Какой великий день! – говорили они, – какой светлый праздник!» Один из них воскликнул: «Христос Воскрес!», а другой даже пропел фальшиво первую строчку пасхального тропаря. Меня покорило в них что-то надуманное, точно они «представляли».

А учитель Очкин слегка отвел меня в сторону и заговорил вполголоса, многозначительно:

– Вот теперь я вам скажу очень важную вещь. Ведь вы и не подозревали, а между тем в списке, составленном большевиками, ваше имя было одно из первых в числе кандидатов в заложники и для показательного расстрела.

Я выпучил глаза:

– И вы давно об этом знали?

– Да как сказать?.. месяца два.

Я возмутился:

– Как? Два месяца? И вы мне не сказали ни слова.

Он замялся и заежился:

– Но ведь согласитесь, не мог же я? Мне эту бумагу показали под строжайшим секретом.

Я взял его за обшлаг пальто.

– Так на какой же черт вы мне это сообщаете только теперь? Для чего?

– Ах, я думал, что вам это будет приятно...

...Ну и отличились же вскоре эти педагоги, эти ответственные друзья, вторые отцы и защитники детей!

Одновременно с вступлением Белой Армии приехали в Гатчину на огромных грузовых автомобилях благотворительные американцы. Они привезли с собою – исключительно для того, чтобы подкормить изголодавшихся на жмыхах и клюкве детей, – значительные запасы печенья, сгущенного молока, рису, какао, шоколаду, яиц, сахара, чая и белого хлеба.

Это были канадские американцы. Воспоминания о них для меня священны. Они широко снабжали необходимыми медицинскими средствами все военные аптеки и госпитали. Они перевозили раненых и больных. В их обращении с русскими были спокойная вежливость и христианская доброта – сотни людей благословляли их.

Со своей североамериканской точки зрения они, конечно, не могли поступить более разумно и практично, как избрать местных учителей посредствующим звеном между дающей рукой и детскими ртами. Ведь очень давно и очень хорошо с самой похвальной стороны известен престиж американского учителя в обществе.

Но известно также – по крайней мере, нам, – что в России «особенная статья». Таким густым обильным потоком полилось жирное какао в учительские животы, такие живописные яичницы-глазуни заворчали на их учительских сковородах, такой разнообразный набор пищевых пакетов наполнил полки учительских буфетов, комодов, шкафов и кладовок, что добрые канадцы только ахнули. Да надо сказать, что учительницы, которым доверяли детские столовые, оказались не лучше. Но эти злые мелочи не отвратили и не оттолкнули умную американскую благотворительность от прекрасного доброго дела.

Они только, через головы русской общественности, вынесли чисто практическое решение:

«Мы теперь должны позаботиться сами, чтобы на наших глазах каждая ложка и каждый кусок попали в детские рты по прямому назначению».

Так и сделали. Я не особенно старался воображать себе, какое мнение о русском обществе увезли с собой домой в Канаду славные американцы.

Вот еще нелепая встреча: расставшись с учителями, я подряд встретился с г. К. Это был очень приличный, довольно значительный чиновник, не знаю какого ведомства. Я был знаком с ним только шапочно. Всегда он был холодно вежлив, суховато обязателен и на гатчинских жителей поглядывал немножко свысока. Он был коллекционером, собирал красное дерево и фарфор. В Гатчине множество находилось этого добра и за дешевые цены. Когда-то здесь жили Орлов, Потемкин и Павел I. Екатерина бывала часто гостьей во дворце, где камни и паркетные мозаики создавались по рисункам Растрелли и Кваренги. Там жизнь была когда-то богатая и красивая.

Г-н К. поздоровался со мной необычайно оживленно.

– Поздравляю, поздравляю! – сказал он. – А кстати. Ходили уже смотреть на повешенных?

Я о них ничего не слышал.

– Если хотите, пойдемте вместе. Вот тут недалеко, на проспекте. Я уже два раза ходил, но с вами, за компанию, посмотрю еще.

Конечно, я не пошел. Я могу подолгу смотреть на мудрую таинственную улыбку покойников, но вид насильственно умерших мне отвратителен.

Г-н К. рассказал мне подробно, что были утром повешены гатчинский портной Хиндов и какой-то оставшийся дезертир из красных. Они взломали магазин часовщика, еврея Волка, и ограбили его. Хиндов взял только швейную машину. Красноармеец захватил с собой несколько дешевых часов. Волк в это время был с семьей в городе. Грабителей схватила публика и отдала в руки солдат. Обоих повесили рядом на одной березе и прибили белый листок с надписью: «За грабеж населения».

Было еще двое убитых. Один неизвестный никому человек, должно быть, яростный коммунист. Он взобрался на дерево и стал оттуда стрелять в каждого солдата, который показывался в поле его зрения. Его окружили. Он выпустил целую ленту из маузера и после этого был застрелен. Запутался в ветвях, и труп его повис на них. Так его и оставили висеть.

А другой... да, другой был несчастный Яша Файнштейн. Он выполнил свое обещание: влез на воз с капустой, очень долго и яростно проклинал Бога, всех царей, буржуев и капиталистов, всю контрреволюционную сволочь и ее вождей.

Его многие знали по Гатчине... Некоторые люди пробовали его уговорить, успокоить. Куда! Он был в припадке бешенства. Его схватили солдаты, отвезли в Приоратский парк и там расстреляли.

У него была мать. Ей слишком поздно сказали о Яшиной иеремиаде<sup>15</sup>. Может быть, если бы она поспела вовремя, ей удалось бы спасти сына. Она могла бы рассказать, что Яша год назад сидел в психиатрической лечебнице у д-ра Кащенко, в Сиворицах.

Ах, Яша! Мне и до сих пор его остро жалко. Я не знал ничего о его душевной болезни. Да и первый коммунист – не был ли больным?

---

<sup>15</sup> *Иеремиада* — длинное литературное произведение, в котором автор горько оплакивает состояние общества, обличая его пороки с лживой моралью и, как правило, предсказывая его скорый упадок.

## IX. Разведчик Суворов

В помещении коменданта была непролазная давка. Не только пробраться к дверям его кабинета, но и повернуться здесь было трудно. Однако, буравя толпу и возвышаясь над ней целой головою – черной, потной и лохматой, прокладывая себе путь в ее гущине рослый веселый солдат без шапки и кричал зычным хриплым голосом, точно средневековый вербовщик (по-своему он был красноречив).

– Записывайтесь, граждане! Записывайтесь, православные! Будет вам корчиться от голода и лизать большевикам пятки. Будет вам прятаться под бабьи юбки и греть ж... на лежанке. Мы не одни, за нами союзники: англичане и французы! Завтра придут танки! Завтра привезут хлеб и сало! Видели, небось, как перед нами бегут красные? Недели не пройдет, как мы возьмем Петербург, вышибем к чертовой матери всю большевицкую сволочь и освободим родную Россию. Слава будет нам, слава будет и вам! А если уткнетесь в тараканы щели – какая же вам, мужикам, честь? Не мужчины вы будете, а г... Тьфу! Не бойтесь: вперед на позиции не пошлем – возьмем только охотников, кто помоложе и похрабрее. А у кого кишка потоньше – тому много дела будет охранять город, конвоировать и стеречь пленных, нести унутреннюю службу. Записывайтесь, молодцы! Записывайтесь, красавцы! Торопитесь, граждане!

Очень жалко, что я теперь не могу воспроизвести его лапидарного стиля. Да, впрочем, и бумага не стерпела бы. Его слушали оживленно и жадно. Не был ли это всем известный храбрец и чудак Румянцев, фельдфебель первой роты Талабского полка?

Я решил зайти в комендантскую после обеда, кстати, захватив паспорт и оружие.

Не успел я раздеться, как к моему дому подъехали двое всадников: офицер и солдат. Я отворил ворота. Всадники спешили. Офицер подходил ко мне, смеясь.

– Не узнаете? – спросил он.

– Простите... что-то знакомое, но...

– Поручик Р-ский.

– Батюшки! Вот волшебное изменение. Войдите, войдите, пожалуйста.

И мудрено было его узнать. Виделись мы с ним в последний раз осенью 17-го года. Он тогда, окончив Михайловское училище, держал экзамен в Артиллерийскую академию и каждый праздник приезжал из Петербурга в Гатчину к своим стареньким родственникам, у которых я часто играл по вечерам в винт: у них и встретился.

У нас было мало общего, да и не могу сказать, чтобы он мне очень нравился. Был и недурен собою, и молод, и вежлив, но как-то чересчур весь застегнут – в одежде и в душе: знал наперед, что скажет и что сделает, не пил, не курил, не играл в карты, не смеялся, не танцевал, но любил сладкое. Даже честолюбия в нем не было заметно: был только холоден, сух, порядочен и бесцветен. Такие люди, может быть, и ценны, но – просто у меня не лежит к ним сердце.

Теперь это был совсем другой человек. Во-первых, он потерял в походе пенсне с очень сильными стеклами. Остались два красных рубца на переносице; а поневоле косившие серые глаза сияли добротой, доверием и какой-то лучистой энергией. Решительно он похорошел. Во-вторых, сапоги его были месяц как не чищены, фуражка скомкана, гимнастерка смята и на ней недоставало нескольких пуговиц. В-третьих, движения его стали свободны и широки. Кроме того, он совсем утратил натянутую сдержанность. Куда девался прежний «тоняга<sup>16</sup>»?

Я предложил ему поесть, чего Бог послал. Он охотно без заминки согласился и сказал:

– Хорошо было бы папироску, если есть.

– Махорка.

– О, все равно. Курил березовый веник и мох! Махорка – блаженство!

<sup>16</sup> Тоняга — задающий тон.

– Тогда пойдите в столовую. А вашего денщика мы устроим... – сказал я и осекся.

Р-ский нагнулся ко мне и застенчиво, вполголоса сказал:

– У нас нет почтенного института денщиков и вестовых. Это мой разведчик, Суворов.

Я покраснел. Но огромный рыжий Суворов отозвался добродушно:

– О нас не беспокойтесь. Мы посидим на куфне.

Но все-таки я поручил разведчика Суворова вниманию степенной Матрены Павловны и повел офицера в столовую. Суворову же сказал, что, если нужно сена, оно у меня в сеновале, над флигелем. Немного, но для двух лошадей хватит.

– Вот это ладно, – сказал одобрительно разведчик. – Кони, признаться, вовсе голодные.

Обед у меня был не Бог знает какой пышный: похлебка из столетней сушеной воблы с пшеном да картофель, жаренный на сезанном масле (я до сих пор не знаю, что это за штука – сезанное масло; знаю только, что оно, как и касторовое, не давало никакого дурного отвкуса или запаха и даже было предпочтительнее, ибо касторовое – даже в жареном виде – сохраняло свои разрывные качества). Но у Р-ского был чудесный аппетит и, выпив рюмку круто разбавленного спирта, он с душою воскликнул, разделяя слога:

– Вос-хи-ти-тель-но!

Расцеловать мне его хотелось в эту минуту – такой он стал душечка. Только буря войны своим страшным дыханием так выпрямляет и делает внутренне красивым незаурядного человека. Ничтожных она топчет еще ниже – до грязи.

– А разведчику Суворову послать? – спросил я.

– Он, конечно, может обойтись и без. Однако, не скрою, был бы польщен и обрадован.

За обедом и потом за чаем Р-ский рассказывал нам о последних эпизодах наступления на Гатчину.

Он и другие артиллеристы вошли в ту колонну, которая преодолевала междуозерное пространство. Я уж не помню теперь расположения этих речек: Яны, Березны, Соби и Желчи; этих озер: Самро, Сяберского, Заозерского, Газерского. Я только помнил из красных газет и сказал Р-скому о том, что Высший Военный Совет под председательством Троцкого объявил это междуозерное пространство абсолютно непроходимым.

– Мы не только прошли его, но протащили легкую артиллерию. Черт знает, чего это стоило, я даже потерял пенсне. Какие солдаты! Я не умею передать, – продолжал он. – Единственный их недостаток – не сочтите за парадокс – это то, что они слишком зарываются вперед, иногда вопреки диспозиции, увлекая невольно за собою офицеров. Какое-то бешеное стремление! Других надо подгонять – этих удержать нельзя. Все они без исключения добровольцы или старые боевые солдаты, влившиеся в армию по своей охоте. Возьмите Талабский полк. Он вчера первым вошел в Гатчину. Основной кадр его это рыбаки с Талабского озера. У них до сих пор и говор свой собственный, все они цокают: поросенок, курецька, цицверг. А в боях – тигры. До Гатчины они трое суток дрались без перерыва; когда спали – неизвестно. А теперь уже идут на Царское Село. Таковы и все полки...

– Смешная история, – продолжал он, – случилась вчера вечером. Талабцы уже заняли окраины Гатчины, со стороны Балтийского вокзала, а тут подошел с Сиверской Родзянко со своей личной сотней. Они столкнулись и, не разобравшись в темноте, начали поливать друг друга из пулеметов. Впрочем, скоро опознались. Только один стрелок легко ранен.

– Я ночью слышал какой-то резкий взрыв, – сказал я.

– Это тоже талабцы. Капитан Лавров. На Балтийском вокзале укрылась красная засада. Ее и выставили ручной гранатой. Все сдались.

Р-ский собирался уходить. Мы в передней задержались. Дверь в кухню была открыта. Я увидел и услышал милую сцену.

Матрена Павловна, тихая, слабая, деликатная старая женщина, сидела в углу, вытирая платочком глаза. А разведчик Суворов, вытянув длинные ноги, так что они загородили от угла до угла всю кухню, и, развалившись локтями на стол, говорил нежным фальцетом:

– Житье, я вижу, ваше паршиво. Ну, ничего, не пужайтесь боле, Матрена Павловна. Мы вас накормим и упокоим, и от всякой нечисти отобьем. Живите с вашим удовольствием, Матрена Павловна, вот и весь сказ.

Р-ский уехал со своим разведчиком. Я провожал его. На прощание он мне сказал, что меня хотели повидать его сотоварищи-артиллеристы. Я сказал, что буду им рад во всякое время.

Возвращаясь через кухню, я увидел на столе сверток.

– Не солдат ли забыл, Матрена Павловна?

– Ах, нет. Сам положил. Сказал – это нашему семейству в знак памяти. Я говорю: зачем? нам без надобности, а он говорит: чего уж.

В пакете был белый хлеб и кусок сала.

## Х. Хромой черт

День этот был для меня полон сумятицы, встреч, новых знакомств, слухов и новостей. Подробностей мне теперь не вспомнить. Такие бесконечно длинные дни, и столь густо напичканные лицами и событиями, бывают только в романах Достоевского и в лихорадочных снах.

Идя к коменданту, я увидел на заборах новые объявления – белые узкие листки с четким кратким текстом:

«Начальник гарнизона полковник Пермикин предписывает гражданам соблюдать спокойствие и порядок». И больше ничего.

Комендант принял меня, поднявшись мне навстречу с кожаного продранного дивана. Наружность его меня поразила. Он был высок, худощав, голубоглаз и курнос. Вьющиеся белокурые волосы в художественном беспорядке спускались на его лоб. Похож он был на старинные портреты военных, молодых героев времен Отечественной войны, 1812 года, но было в нем еще что-то общее с Павлом I, бронзовая статуя которого высится на цоколе напротив Гатчинского дворца. Взгляд его был открыт, смел, весел и пронизателен; слегка прищуренный – он производил впечатление большой силы и твердости.

Я «явился» ему по форме. Он оглянул меня сверху вниз и как-то сбоку, по-петушиному. С досадою прочитал я в его быстром взоре обидную, но неизбежную мысль: «А лет тебе все-таки около пятидесяти».

– Прекрасно, – сказал он любезным тоном. – Мы рады каждому свежему сотруднику. Ведь, если я не ошибаюсь, вы тот самый... Куприн... писатель?

– Точно так, господин капитан.

– Очень приятно. Чем же вы хотите быть нам полезным?

Я ответил старой солдатской формулой:

– Никуда не напрашиваюсь, ни от чего не откажусь, г. капитан.

– Но приблизительно... имея в виду вашу профессию?

– Мог бы писать в прифронтовой газете. Думаю, что сумел бы составить прокламацию или воззвание...

– Хорошо, я об этом подумаю и разужнаю, а сейчас напишу вам препроводительную записку в штаб армии. Теперь же отбросьте всякую официальность. Садитесь. Курите.

Он пододвинул мне раскрытый серебряный портсигар с настоящими, богдановскими папиросами. Я совсем отвык от турецкого табака. От первой же затяжки у меня томно помутнело в глазах, и блаженно закружилась голова.

Когда комендант окончил писать, я осторожно спросил о событиях прошедшей ночи.

Лавров охотно рассказывал (умолчав, однако, о недоразумении с пулеметами). Еще ночью был назначен комендантом города командир 3-го батальона Талабского полка полковник Ставский. Он тотчас же занял товарный вокзал с железнодорожными мастерскими и так нажал на рабочих, что к рассвету уже стоял на рельсах с готовым паровозом ябургский поезд. Недаром он, по прежней службе, военный инженер. Утром Ставский опять принял свой батальон, чем был чрезвычайно доволен, а обязанности коменданта возложили на капитана Лаврова, к его великому неудовольствию. Эти изумительные офицеры С.-З. Армии боялись штабных и гарнизонных должностей гораздо больше, чем люди, заевшиеся и распустившиеся в тылу, бояться назначения в боевые части. Таков уж был их военный порок. Бои были для них ежедневным привычным делом, а стремительное движение вперед стало душевной привычкой и неисправимой необходимостью.

– Возражать против приказания у нас никто и подумать не смеет, – говорил Лавров. – Ну, вот я, скажем, комендант. Прекрасно. Они говорят: ты хромой, тебе надо передохнуть. Да, действительно, я хромой. Старая рана. Когда сблизимся – большевики мне всегда орут:

«Хромой черт! Опять ты зашкандыбал, растак-то и растак-то твоих близких родственников!» Но ведь я же вовсе не расположен отдыхать. Ну да, я комендант. Но душа моя выросла вся в 1-ю роту Талабского полка. Я ею командовал с самого начала, с первого дня формирования полка из талабских рыбаков, когда мы бомбами вышибали большевиков из комиссариатов и совдепов.

– Как вчера? – лукаво спросил я.

Он махнул рукой с беспечной улыбкой.

– Пустяки. Главное то, что я вот сию и обывательскую труху разбираю, а семеновцы и талабцы уже поперли скорым маршем на Царское, и моя рота впереди, но уж не под моей командой. Впрочем, скоро вы ни одного солдата в Гатчине не увидите. Мы наши боевые части всегда держим на окраинах, по деревням и мысам, а городов избегаем. Только штабы в городах. Соблазна много: бабы, притоны, самогон и все такое.

Я, вспомнив об утренних повешенных громилах, спросил:

– Ну как же без солдат можно ручаться за порядок в городе?

– Будьте спокойны. Вы видели только что расклеенные объявления? Видели, кто их подписал?

Полковник Пермикин, – сказал я.

– И баста. Точка. Теперь, правда, уже не полковник, а генерал. Сегодня после молебна генерал Родзянко его поздравил с производством. Но все равно, раз начертано его имя, то можете сказать всем гатчинским байбакам, что они могут спать спокойно, как грудные младенцы.

– Строг?

– В бою лют, стрелками обожаем. В службе требователен. В другое время серьезен и добр, но все-таки надо вокруг него ходить с опаскою, без покушений на близость. Зато слово его твердо, как алмаз, и даром он его не роняет.

– Шутки с ним, значит, плохи?

– Не рекомендовал бы. Он развлекается совсем по-другому. Да вот сегодня, всего часа три назад, что он сделал! – Лавров вдруг громко, по-юношески расхохотался. – Подождите, я сейчас расскажу вам. Только отпущу этих четырех...

(Надо сказать, что во все время нашего разговора он не переставал спокойно подписывать бумаги, отдавать приказания и принимать разношерстный народ.)

– Ну, теперь послушайте. Это – потеха.

И он передал мне следующее, что я передаю, как умею.

По случаю благополучного занятия Гатчины назначен был в соборе молебен (звон к нему я слышал утром), а после него парад, который должен был принять генерал Родзянко. В храм прибыло все военное командование, все свободные от службы офицеры, присутствовал, конечно, и Пермикин, тогда еще полковник, а через полчаса генерал.

Но в начале богослужения у него вдруг всплыла в голове беспокойная мысль. Он за нынешний день отдал бесчисленное количество приказаний, и в их числе распорядился, чтобы было перерыто около Вайволы шоссе, ведущее на Петербург. Город был почти пуст, а по данным разведки, где-то на пути к северу задержалась большая красная часть с броневиком германского типа. От нее всегда можно было ожидать внезапного налета. И Пермикин затревожился: точно ли было понято его приказание и приведено ли оно в исполнение.

Наконец он не утерпел. Подал головою знак своему адъютанту, и они потихоньку вышли из церкви на площадь, где дожидался их быстроходный автомобиль Пермикина с двумя шоферами-финнами, которые уже давно были известны своим баснословным финским хладнокровием, позволявшим им выполнять точно, безукоризненно и находчиво самые безумные выражи.

Быстро проскочили они Гатчину, артиллерийские казармы, заставу, Орлову рощу. У Вайволы толпились на шоссе люди с кирками, мотыгами и лопатами. Шли с предельной скоростью. На миг почудилось Пермикину, что перед ним мелькнула и тотчас же уплыла назад рассыпанная цепь пехоты. Он хотел уже остановить мотор. Но было поздно. За поворотом выросла красноармейская застава. Двое солдат с ружьями наперевес бежали к автомобилю.

При таком положении – все дело в находчивости... Пермикин приказал автомобилю остановиться, а сам он вместе с адъютантом, как были в золотых погонах, высунулись и стали делать красноармейцам подзывающие жесты. Те не успели еще подбежать, как Пермикин издал крик:

– Скорее, товарищи, скорее! За нами гонятся белые! Мы едем сдать красному командованию! Дорога каждая минута! Укажите, как здесь проехать в красный штаб! Да, впрочем, чего лучше, доставьте нас туда сами. Полезайте-ка, товарищи! Живо!

Оторопелые красноармейцы послушно полезли в автомобиль. Дверца захлопнулась. Пермикин послал озирающемуся назад финну быстрый кругообразный знак указательным пальцем. В ту же секунду два револьвера уперлись в лбы красных солдат.

– Клади оружие!

Мотор круто повернулся назад и полетел стремглав в Гатчину.

В церкви пели «Спаси, Господи, люди Твоя», когда в нее вошел незаметно и бесшумно Пермикин. Сдав своих «языков» конвою, он еще успел прослушать короткую, прекрасную проповедь отца Иоанна и отсалютовать шашкой на парад генералу Родзянко, поздравившему его с генеральским чином.

Но уже пора мне было откланяться. Лавров добродушно просил меня заходить почаще. «Вам нужны всякие наблюдения, а я каждый день здесь буду торчать до глубокой ночи».

Я спохватился:

– Кому здесь сдают оружие?

– Спуститесь вниз, в контрразведку.

## XI. Обрывки

Только вчера (15 янв. 1927 г.) вспомнил я о моей старинной записной книжке и с великим трудом отыскал ее в бумажном мусоре. Это даже не книжка, а побуревшие клочки бумаги без переплета, исписанные карандашными каракулями; большинство страниц пропало бесследно. Хлопотливый день моей явки к коменданту уцелел и помечен 17 октября. Выписываю скорее по догадкам, чем по тексту, то, что тогда впопыхах занесено.

17 октября. От Л[аврова] – в Штаб корпуса. Это бывшая учительская семинария. Никогда не был. Прекрасное здание (внутри), большие залы. Свет. Паркет. Адъютант типичный штабной. Шикарный френч, лакированные сапоги, белые руки. Сам длинный, тонкий, вымытый. Пробор. Напоминает мне о старом знакомстве. Не вспомнил. Сделал вид: как же, как же. Фамилия птичья. Забыл. Смотрели на карту, чтобы меня ориентировать в положении. Штука: он плохо разбирается, читает карту «от топографической печки». Начальник штаба Видягин. Рослый, хорошо сложен, сильный, строгий. Загорел густо, в оливковый цвет. Прилаживал и примерял полковничьи погоны (сегодня произведен: одна полоска лишняя). С ним, должно быть, тяжело. Ходит по кабинету. Большие ноги, крепко стучит каблуками. Весь прям, и грудь напряжена. Голова бодливо опущена, руки за спиной, хмурится, лицо выражает важность и глубокую мысль. Наполеон? Оба спрашивали о Горьком, Шалапине (то же и Лавров). Хотелось рассказать о словах Троцкого («Правда») в высшем совете (давно): «Гатчину отдадим, а бой примем около Ижорки, в местности болотистой (Лопатин) и очень пересеченной». Не решился. Все-таки не свой, полущпак. Оборвут.

В. спросил меня, не соглашусь ли я взять на себя регистрацию пленных и добровольцев. Конечно, не по мне, но... «Слушаю, г. полковник». Отпущен был благосклонно. Однако суровая здесь атмосфера. Да и надо так.

Зашел в контрразведку. Там опять Кабин. Сдал наган казаку с веснушками и шевелюрой. Он улыбнулся немного презрительно и горько. «Я бы свое оружие никогда не отдал». Мальчик! Портсигар в руках находчивого человека стоит больше, чем револьвер в руках труса. А сколько было людей невинно продырявлено дураками и рукосуями<sup>17</sup>. Савинков мне говорил (1912 г., Ницца): «Верьте, заряженный револьвер просится и понуждает выстрелить». Но в отместку подхорунжему я сказал: «Я не жалею. У меня дома остался револьвер системы Мервинга, с выдвижным барабаном. Он не больше женской ладони, а бьет как браунинг». И правда, этот хорошенький револьвер лежал у меня между стенкой и привинченной к ней ванной. Его могла извлечь оттуда только маленькая ручка десятилетней девочки.

Кабин провожал меня. Сказал:

– Поручик Б. предлагает мне служить в контрразведке. Помогите: как быть?

Я:

– Регистрировались?

– Да.

– В таком случае это предложение равно приказу.

– Но что делать? Мне бы не хотелось.

Я рассердился:

– Мой совет – идите за событиями. Так вернее будет. Ершиться нечего. Вот я оказал вам случайную помощь... Нет, нет, это был просто долг мало-мальски честного человека. Поручик Б. требует услугу за услугу. Но ведь и в контрразведке вы сами можете послужить справедливости и добру, и притом легко: только правдой. Видите, какой ворох доносов?

Простились.

<sup>17</sup> Рукосу́й — неуклюжий человек, ротозей (рукавицы за пазухой, а других ищет).

(1927 год.) И надо сказать, он безукоризненно работал на этом месте, сделав много доброго. Он живой, напористый и чуткий человек. Притом с совестью. Пишет теперь премилые рассказы.

Зашел на вокзал посмотреть привезенные танки. Ромбические сороконожки, скалапендры. Ржаво-серые. На брюхе и на спине сотни острых цеплячек. Попадет в крутой овраг и, изгибаясь, выползет по другому откосу. В бою должны быть ужасающими. Их пять. Вот имена, пишу по памяти: «Доброволец», «Капитан Крамин». (Веское наименование.) «Скорая помощь», «Бурый медведь»... Стоп, заело (справиться). Господи. Будет ли?

Купил погоны поручичьи, без золота, у Сысоева в лавке старых вещей. Это уже в четвертый раз их надеваю: Ополченская дружина, Земгор, Авиационная школа и вот – Северо-Западная Армия. Дома мне обещали смастерить добровольческий угол на рукав. Устал... Сейчас приехали артиллеристы: Р-ский и еще четыре. Что за милый, свежий, жизнерадостный народ. Как деликатны и умны. Недаром Чехов так любил артиллеристов.

Расспрашивают о нашем бытии, о красных повелителях. Жалеют, сочувствуют, возмущаются. И, в конце концов, непременно все-таки расспросы о Горьком и о Шалапине. Право, уж мне надоело рассказывать.

Они рассказали много интересного. Между прочим: та вчерашняя отчетливая пальба, которая так радостно волновала меня и Евсевию, шла не от Коннетабля и не с аэродрома, как мне казалось, а несколько южнее. Стрелял бронепоезд «Ленин», остановившийся за следующей станцией после гагчинского балтийского вокзала.

– Черт бы его побрал, этот бронепоезд, – сказал с досадою капитан Г. – Он нам уже не раз встречался в наступлении, когда мы приближались к железнодорожному пути. Конечно, он немецкого изделия, последнее слово военной науки, с двойной броней ванадиевой стали. Снаряды нашей легкой артиллерии отскакивали от него, как комки жеваной бумаги, а мы подходили почти вплотную. И надо сказать, что на нем была великолепная команда. Под Волосовом нам удалось взорвать виадук на его пути и в двух местах испортить рельсы. Но «Ленин» открыл сильнейший огонь – пулеметный и артиллерийский – и спустил десантную команду. Конноегерский полк обстреливал команду в упор, но она чертовски работала. Не могу представить, какие были в ее распоряжении специальные приспособления! Она под огнем исправила путь, и «Ленин» ушел в Гатчину.

С огорченным лицом Г. помолчал немного, потом продолжал:

– Должен сказать, что виною отчасти были наши снаряды. Большинство не разрывалось. Мы наскоро сделали подсчет: из ста выстрелов получалось только девятнадцать разрывов. Да это что еще? Нам прислали хорошие орудия, но все без замков. «Где замки?» Оказывается – «забыли»...

– Но кто же посылал орудия и снаряды? – спросил я.

Г. помялся, прежде чем ответить.

– Не надо бы... Но скажу, по секрету... Англичане...

Прежде, чем им уехать, я, забыв мудрое правило «не напрашиваться и не отказываться», попросил их прислать за мною артиллериста с запасной лошадейю, чтобы приехать к ним на позицию.

– Лошадь, – сказал я, – мне все равно какая будет, хоть крестьянская клячонка. Но если возможно...

Они уехали, обещав мне сделать это. Условились о времени. Но так и не прислали. Полсуток в Гатчине – это была их последняя передышка. Дальше – они все втянулись в непрерывные бои, вплоть до отступления, и отдохнули только в Нарве, горьким отдыхом.

## ХII. Газета

Итак, я готовился к кропотливой работе по регистрации и не могу сказать, чтобы это будущее занятие рисовалось мне в чертах занятных и привлекательных. Предвидел я, что полковник Видягин крутоват и требователен, но этого я не боялся. Мне почему-то верилось, что он скоро ко мне присмотрится и привыкнет и впоследствии – почем знать, – может быть, даст мне возможность увидеть, услышать и перечувствовать более яркие вещи, чем механическая возня по записыванию пленных и добровольцев. Судьба послала мне иное.

Прибыть мне приказано было в учительский институт на другой день к 10-ти часам, но в половине 10-го за мной заехал полковник Б. на автомобиле и отвез меня в штаб Глазенапа. Он представил меня генералу Краснову. Заочно мы знали друг друга, и встреча эта была для меня приятна. Петр Николаевич осведомил меня, что сейчас придет Глазенап и разговор будет о возможности создать в Гатчине прифронтовую газету. Я ни на минуту не забывал того, что хотя предо мною сидит очаровательный человек, Петр Николаевич, автор путешествий и романов, которые я очень ценил, но что для меня он сейчас Ваше Высокопревосходительство, генерал от кавалерии. В Северо-Западной Армии в служебных отношениях все тянулись в ниточку. Впоследствии я ближе узнал П.Н. Краснова, и воспоминания о нем у меня самые благодарные, почтительные и дружеские. Но если человек вкусил с десяти лет тягость воинской дисциплины, то потом возврат к ней сладостен.

Вошел быстрой легкой походкой, чуть позванивая шпорами, генерал Глазенап, он же – генерал-губернатор всех областей, отторгнутых от большевиков.

Я залюбовался им. Он был очень красив: невысокий стройный брюнет с распущенными черными усами, с горячими черными глазами, со смуглым румянцем лица, с легкостью хорошего кавалериста и со свободными движениями светского человека. Он был участником Ледяного похода<sup>18</sup>, водителем многих отчаянных конных атак.

Говорить с ним было совсем не трудно, тем более что П.Н. Краснов понимал дело и поддерживал меня. Газета, по его мнению, необходимое. Вопрос в типографии и бумаге. О деньгах заботиться не надо: на днях выходят из печати новые кредитки Северо-Западного правительства. Руководителем и моим непосредственным начальником будет генерал Краснов. Через сколько времени может выйти первый номер, по моим расчетам?

Я стал делать оговорки: сможет ли генерал Краснов дать сегодня же передовую статью? – Да, часа через два-три. Есть ли в штабе последние красные газеты и можно ли из них делать вырезки? – Есть, можно, но только для первого номера в виде исключения. Обычно, прежде всего, газеты поступают в штаб для сводки. Нет ли иностранных газет, хотя бы и не особенно свежих? – Найдутся. Есть ли в штабе бумага? – Есть, но только писчая, почтового формата. Разрешено ли мне будет в случае, если в типографии нет бумаги, реквизировать ее в каком-нибудь магазине? – Можно. Только дайте расписку, а счет присылайте в канцелярию...

– Все? – спросил генерал.

– Как будто все, В[аше] Пр[евосходительство], – ответил я. – Только...

Вот тут-то я себя мысленно похвалил. Во всех деловых переговорах и контрактах я никогда не упускал мелочей, но всегда забывал самое главное. А теперь нашел.

– Только должен предупредить, что наборщики – самый гордый и капризный народ на свете. Этим «армии свинцовой суровых командиров» можно взять лишь добром. Деньги теперь – ничто. Но если выдать им хотя бы солдатский паек, то они, наверно, будут польщены таким вниманием.

<sup>18</sup> *Ледяной поход* — первый поход Добровольческой армии на Кубань в феврале – апреле 1918 г.

– Хорошо. Обратитесь к моему заведующему хозяйством. Я предупрежу. А все-таки: когда же мы увидим первый номер?

– Завтра утром, – брякнул я и, признаться, прикусил язык.

Генерал Глазенап весело рассмеялся.

– Это по-суворовски!

Генерал Краснов поглядел на меня сквозь золотое пенсне с чуть заметной улыбкой.

Я поспешил оговориться:

– Конечно, это не будет номер «Таймса» в 32 страницы и выйдет не в пятистах тысячах экземпляров. Но... позвольте попробовать.

Генерал Глазенап сказал:

– Словом, я передаю вас генералу Краснову. Он, без сомнения, понимает в этом деле более меня. Затем желаю полного успеха. Извините, меня ждут.

О самом главном, о названии газеты, труднее всего было столковаться. Я не раз присутствовал при крещении периодических изданий и знаю, как тяжело придумать имя. Каждое кажется устаревшим, похожим на какое-нибудь другое имя, мало или чересчур много звучащим, трудно выговариваемым и т. д. Впоследствии, когда войдет в силу привычка, – всякое название становится удобным.

Мы всячески комбинировали: «Свет», «Север», «Неву», «Россию», «Свободу», «Луч», «Белый», «Армию», «Будущее». П.Н. Краснов нашел простое заглавие: «Приневский край». Мелькнул у меня в голове дурацкий переверот: «При! Невский край». Но каждое наименование можно перебалаганить. Все равно: на десятом номере обомнется и станет привычным.

Вот здесь, в Париже, мне часто намекают, что я, может быть, писатель, но, во всяком случае, не журналист. Я не возражаю. Но ровно в 2 часа дня 19 октября, то есть через 28 часов, я выпустил в свет 307 экземпляров первого номера «Приневского края». Отличная статья П.Н. Краснова о белом движении пришла аккуратно, вовремя. По справедливости, хотя и очень мягко, сделал мне П.Н. выговор за то, что я не послал ему корректуры (занести было всего два шага). Прекрасную оберточную рыжую бумагу я реквизирувал в магазине Офицерского экономического общества. Наборщиков оказалось трое: сын хозяина типографии, длиннорукий, длинноногий лентяй и ворчун, скверный наборщик, но, к счастью, физически сильный человек; второй знал кое-как наборное дело, но страдал грыжей и кашлял; третий же был мастер, хотя и великий копун, медлитель и мрачный человек.

Станок был если не Гуттенбергов, то его внучатый племянник. Он печатал только одну полосу. Чтобы тиснуть продолжение, надо было переворачивать лист на другую сторону. Приводился он в действие колесом вручную, в чем я принимал самое живое участие.

Я уже успел сдать в печать стихи (правда, не новенькие), статью под передовой, отчет о параде, прекрасную проповедь о. Иоанна и характеристику Ленина (я сделал ее без злобы, строго держась личных впечатлений). Кроме того, я вырезал и снабдил комментариями все интересное, что нашел в красных газетах. Я также продержал обе корректуры. Словом, Фигаро здесь, Фигаро там.

Часам к 11-ти ночи люди устали, но ропота не было. Я сбегал за пайками и предложил, и, по-моему, вовремя и деликатно. Сказал: «А кстати, вот ваш ежедневный паек». Это их так взбодрило, что они и на мою долю отрезали холодного мяса, свиного сала и белого хлеба. Утром заканчивали работу вдвоем: я и мрачный тип.

Господа журналисты, работали ли вы в таких условиях?

Этот станок, этого верблюда мы таскали с собою потом в Ямбург, в Нарву и в Ревель. Разбирали и собирали. Главный его недостаток был в медлительности работы. Вертеть колесо, да еще дважды, – занятие нелегкое.

1-й номер расхватили в час. Цена ему была полтинник на керенки. Почему мы не брали по пятьсот рублей? – не понимаю. Впрочем, разницы между этими суммами не было никакой.

И мы сами не знали, куда девать вырученные деньги. Наняли было корректоршу (она же и кассирша), но через час пришлось ее уволить: никуда не годилась.

### ХIII. Красные уши

Нелегка была вначале газетная работа при оборудовании дела самыми примитивными способами и средствами. Но мне она доставляла удовлетворение и гордость. Тем более, что вскоре дело наладилось и пошло ровно, без перебоев.

Все тот же внимательный, памятливым и точный комендант Лавров по моей просьбе распорядился, чтобы при разборке пленных красноармейцев спрашивали: нет ли среди них мастеров печатного дела. На третий же день мне прислали двух. Один рядовой наборщик, весьма полезный для газеты, другой же оказался прямо драгоценным приобретением: он раньше служил в синодальной типографии, где, как известно, требуется самая строгая, интегральная точность в работе, а кроме того, у него оказались глазомер и находчивость настоящего метранпажа. Вблизи Гатчины мы откопали бумажную фабрику, заглохшую при большевиках, но с достаточным запасом печатной бумаги.

П.Н. Краснов давал ежедневно краткие, яркие и емкие статьи, подписывая их своим обычным псевдонимом Гр. Ад (Град было имя его любимой скаковой лошади, на которой он взял в свое время много призов в Красном Селе и на Concours Hippiques в Михайловском манеже). Он писал о собирании Руси, о Смутном времени, о приказах Петра Великого, о политической жизни Европы. Оба штаба (ген. Глазенап и графа Палена), жившие друг с другом несколько не в ладах, охотно посылали нам, какие было возможно, сведения и распоряжения. Напечатали два воззвания обоих генералов и главнокомандующего ген. Юденича. Наняли двух вертельщиков. Работали круглые сутки в две смены. Довели тираж до тысячи, но и того не хватало.

Красные газеты получались аккуратно и в изобилии от пленных и через разведчиков, ходивших ежедневно в Петербург, в самое чертово пекло, разносить события. С чувством некоего умиления читал я в них лестные строки, посвященные мне. Из одной заметки я узнал, что штаб Юденича помещается в моем доме, а я неизменно присутствую на всех военных советах в качестве лица, хорошо знающего местные условия. Василий Князев почтил меня стихами:

Угостил его Юденич коньяком,  
И Куприн стал нам грозиться кулаком.

Что-то в этом роде...

Пролетарский поэт Демьян Бедный отвел мне в московской «Правде» целый нижний этаж, уверяя, что я ему показался подозрительным еще в начале 19-го года, когда я вел в Кремле переговоры с Лениным, Каменевым, Милутиным и Сосновским об издании беспартийной газеты для народа. Это правда: о такой газете я и хлопотал, но не один: за мной стояла большая группа писателей и ученых, не соблазненных большевизмом. Имелись и деньги. Затея не удалась. Мне предложили заднюю страницу «Красного пахаря». Но красный – какой же это пахарь? И зачем пахарю красный цвет?

Я уехал в Петербург ни с чем.

Но Демьян слушавший, неприглашенным, наши переговоры, уже тогда решил в уме, что я обхожу советскую власть «змеиным холодом».

Это все, разумеется, вздор... Печально было то, что, внимательно вчитываясь в красные петербургские газеты, можно было уловить в них уши и глаза, находящиеся в Гатчине.

Из крупных гатчинских коммунистов никто не попался белым (кстати, дважды они упустили из рук Троцкого в Онтоло и в Высоцком, находя каждый раз вместо него лишь пустое,

еще теплое логовище). Ушел страшный Шатов, однажды приказавший расстрелять женщину, заложницу за мужа-авиатора, вместе с грудным ребенком, которого у нее никак нельзя отнять.

Улизнул Серов, председатель Гатчинской Чека, кумир гимназисток-большевицек, бывший фейерверкер царской армии: на Псковском фронте он вызвал из строя всех прежних кадровых офицеров, числом около 50-ти, велел их расстрелять и для верности сам приканчивал их из револьвера. Перед казнью он сказал им: «...Ни одному перекусившемуся офицеру мы не верим. Свое дело вы сделали, натаскали красных солдат, теперь вы для нас – лишняя обуза».

Ушел неистовый чекист Оссинский. В его квартире нашли подвал, забрызганный до потолка кровью, смердящий трупной вонью. Исчез палач – специалист Шмаров, бывший каторжник, – убийца, который даже всегда ходил в арестантском сером халате, с круглой серой арестантской бескозыркой на голове. Он как-то на Люцевской улице, пьяный, подстрелил без всякого повода и разговора, сзади, незнакомого ему прохожего, ранил его в ногу, вдруг осви-репел, потащил его в ЧК (тут же напротив) и дострелил его окончательно.

Поймали белые только одного Чумаченку, захватив его в Красном. Этот безобидный человек-пуговица заведовал пищевыми запасами и называл себя «Король продовольствия». Никому он зла не делал, наивно упивался высотой своего положения и был забавен со своим всегда вздернутым носом-пуговичкой. На него сделали донос.

Словом, ушли тузы и фигуры. Осталась дребедень. Но, прячась за нее, какие-то неуловимые много знающие и пронырливые люди сообщались с красным командованием, посылая ему в Петербург сводки своих наблюдений. Разыскивать их было некогда и некому. И – вероятнее всего – это они намеревались устроить в Гатчине провокационный погром.

Как-то вечером зашел я к моему приятелю-еврею. У него застал смятение и скорбь. Мужчины только что вернулись из синагоги. У дедушки Моти, старейшего из евреев, во время молитвы впервые затряслась голова и так потом не переставала трястись. Добрая толстая хозяйка просила меня взять к себе на время ее пятилетнюю девочку Розочку, а та прижималась к ней и плакала. Все они были смертельно напуганы уличными сплетнями и подметными анонимными письмами.

В тот же вечер, руководясь темным инстинктом, я передал эту сцену полковнику Видягину. Его сумрачные глаза вдруг вспыхнули.

– Я не допущу погромов, с какой бы стороны они ни грозили, – воскликнул он. – Жидов я, говорю прямо, не люблю. Но там, где Северо-Западная Армия, там немислимо ни одно насилие над мирными гражданами. Мы без счета льем свою кровь и кровь большевицкую, на нас не должно быть ни одного пятна обывательской крови. Садитесь и сейчас же пишите внушение жителям.

Через полчаса я подал ему составленное воззвание. Говорил в нем о том, что еще со времен Екатерины II и Павла I живут в Гатчине несколько еврейских фамилий, давно знакомых всему городу, честных тружеников, небогатых мастеров, людей совершенно чуждых большевистским идеям и нравам. Говорил о Едином Боге, о том, что не время в эти великие дни сеять ненависть. Упомянул в конце о строгой ответственности и суровой каре, которая постигнет насильников и подстрекателей.

К ночи воззвание было подписано графом Паленом и скреплено начальником штаба. На другой день оно было расклеено по заборам.

Пишу об этом так подробно, потому что мне лишний раз хочется подтвердить о полном доброты, нелицеприятном, справедливом отношении С.-З. Армии ко всем мирным гражданам, без различия племен и вероисповеданий. Об этом подтвердят все участники похода и все жители тех мест, где эта армия проходила.

А вот в ревельской газете «Свободная Россия» Кирдецов, Дюшен и Башкирцев позволили себе оклеветать эту истинно рыцарскую армию как разбойничью и грабительскую, говоря не о тыле, а о доблестных офицерах и солдатах похода-легенды.

## XIV. Немножко истории

Северо-Западная Армия не была одинока в борьбе с большевиками. По условиям своего созидания и формирования Северный корпус с первых своих дней оказался тесно связанным с Эстонской республикой и с ее молодой армией. Боевое крещение получили части Русского Корпуса, защищая Эстонию от вторжения большевистских войск. До мая 1919 г. все операции Северной армии происходили на эстонской территории. Отсюда причины союзных отношений между обеими армиями. В период существования Северного Русского Корпуса эти отношения были оформлены заключенным договором. Однако в момент превращения Русского Корпуса в армию положение сторон изменилось. Эстония была освобождена от большевиков, и Русская Армия сражалась на русской территории.

По этим соображениям Русская Армия вышла из подчинения эстонскому главнокомандованию и в лице генерала Юденича получила собственного руководителя, назначенного Верховным правителем России. Были раньше планы о возглавлении армии генералом Гурко или Драгомировым. Но имя победителя Эрзерума более импонировало.

Не имея собственных портов, ограниченная размером территории, С.-З. белая Россия принуждена была, а с нею и С.-З. Армия, базироваться на Ревель и на Эстонию. Между тем Эстония уже была свободна от большевиков, имела свыше чем 80-тысячную армию и в существенной помощи Белой Армии уже не нуждалась. Прежний взаимный договор отпадал. Требовалось новое договорное соглашение, и почва для него нашлась, но очень волнующая. С одной стороны, сформированное в августе 1919 года С.-З. правительство поспешило признать полную и вечную независимость Эстонии и дало гарантию требовать этого признания всеми Великими державами, Верховным правителем России и всеми областными ее правительствами. За это Эстония согласилась оказывать помощь белой России в ее борьбе с большевиками и обещала помочь генералу Юденичу при походе на Петербург. (Однако, когда наступление на Петербург началось, то эстонские войска в нем участия почему-то не приняли...)

Предполагался подобный же взаимный договор с Финляндией, и она также искала к нему путей. Он не состоялся. Вопрос об его осуществлении зависел главным образом от бывших русских дипломатов, эмигрировавших в Париж. Они отказали. Почему? Энергичный напор на красных со стороны Финляндии решил бы судьбу Петербурга в два-три дня.

Высший совет командования Белой Армии сознавал, что общее состояние тыла и политической обстановки еще не вполне отвечает требованиям немедленного наступления.

Но строевые начальники, видевшие настроение своих солдат, твердо знали и чувствовали, что этот бодрый воинственный дух необходимо поддержать именно переходом от метода обороны, изнурявшей боевые части и понижавшей их боеспособность, к решительному и быстрому наступлению.

Дух и воля армии одержали верх. Главное командование решилось, наконец, на открытие военных действий. Впрочем, за необходимость наступления говорили громко еще следующие доводы.

1) Эстония под влиянием своих социалистических партий уже намеревалась вступить в мирные переговоры с Советской Россией.

Заключение такого мира лишало бы С.-З. Армию и военной поддержки Эстонии, и пользования для военных целей портами и железными дорогами Эстонии.

2) Успехи Деникина при его движении на Москву привлекли в тот момент внимание всего красного главнокомандования. Чтобы отразить его победоносное наступление, напрягались все советские силы. Угроза Петербургу в эти дни значительно облегчила бы задачу Деникина.

3) Необходимость взятия Петербурга до наступления холодов. Главная цель взятия Петербурга – освобождение от террора, от холода и голода несчастного населения столицы. Ввоз необходимого продовольствия и предметов первой необходимости возможен лишь до прекращения навигации, которая с конца ноября уже связывается замерзающим Петербургским портом.

4) Обещанная поддержка военного английского флота, действия которого находились в зависимости от наступления морозов.

5) Великолепный дух белых солдат, оторванных, однако, от родины и семьи, не мог бы выдержать своего напряжения до весны и в течение зимы сменился бы унынием и всеми его последствиями.

6) Командование Красной Армии прозевало возрождение духа и силы С.-З. Армии. Оно продолжало ее считать не вполне боеспособной и не боялось ее. Поэтому многие красные части были переведены на другие фронты, и соотношение сил на С.-З. фронте было в данный момент очень благоприятным для наступления Белой Армии.

Наступление было решено.

Я пламенный бард С.-З. Армии. Я никогда не устану удивляться ее героизму и воспевать его. Но ведь есть на свете и проза. Много способствовало подъему духа в С.-З. Армии появление, наконец, давно обещанной, так долгожданной помощи от французов и англичан в виде первых транспортов обмундирования, танков, орудий, снарядов, ружей. Солдаты по прибытии первых грузов ожили духом. Они удостоверились собственными глазами, что старые друзья и союзники по войне с Германией решительно хотят помогать белым армиям в их борьбе с большевиками. Сапоги, хлеб, шинель и ружье – это все, что нужно воину, кроме убеждения, что война имеет смысл. Голодный, босой, невооруженный солдат – хороший материал лишь для бунта или для дезертирства. Глупость говорила ходячая поговорка удалых прежних военачальников: «Я своим солдатам три дня есть не дам, так они врага с кожей и костями слопают, так что они без вести пропадут и назад не вернутся».

Активные операции С.-З. Армии против Петербурга могли развиваться в двух направлениях. Большинство старых генералов, недавно прибывших на фронт гражданской войны и не знавших ее условий, настаивали на том, что необходимо обеспечить себя взятием Пскова и лишь после этого открыть движение на Петербург.

Но командный состав из числа тех, кто с первых дней существования С.-З. корпуса находился в нем и знали его боевые качества, решительно настаивал на ином плане. В гражданской войне, говорили они, гораздо вернее проявлять быстроту и натиск. Все здесь зависит от психологического момента. Если нам стремительно удастся уловить его, то красный Петербург не спасут ни наши обнаженные фланги, ни обходное движение советских полков! Эта упругая стремительность должна вызвать растерянность среди командного состава Красной Армии, пробудить уснувшие надежды в антибольшевиках в Советской Армии и в Петербурге, создать благоприятные условия для восстания рабочих масс и т. д.

Этот план восторжествовал. Страшная стремительность, с которой С.-З. Армия ринулась на Петербург, действительно вряд ли имела примеры в мировой истории, исключая разве легендарные суворовские марши.

## XV. Партизанский дух

Передо мною лежит брошюра: «Октябрьское наступление на Петербург и причины неудачи похода. Записки белого офицера». Это единственный печатный материал, посвященный походу. Автор не назван. (Говорят, сохранились кое-где полковые и дивизионные архивы. Но ими воспользуется со временем усидчивый историк.)

Книжка ценная, составлена ясно, толково, со знанием дела, с любовью к родине, с горячей скорбью о трагической судьбе геройской Северо-Западной Армии. Я вынужден ею пользоваться для того, чтобы не заблудиться в чрезвычайно сложных и путаных деталях наступления. Надо сказать, что она не только подтверждает все мною слышанное и лично наблюденное, но и проливает на события верный свет. Лишь в оценке неудач армии у меня несколько иной взгляд, чем у талантливого автора, очевидно, доблестного кадрового офицера прежней великой российской армии. Но книгу его я усердно рекомендую любителям.

Говорили многие потом, разбирая критически операции С.-З. Армии, что в ней было слишком много партизанского духа. Но какой же иной могла быть армия добровольцев, всего в 20-тысячном составе, в дни братоубийственной гражданской войны, в сверхчеловеческой обстановке непрестанных на все стороны боев, дневных и предпочтительно ночных, с необеспеченным флангом, с единственной задачей быстроты и дерзости, со стремительным движением вперед, во время которого люди не успевали есть и выспаться? Так почему же эта армия не разлагалась, не бежала, не грабила, не дезертировала? Почему сами большевики писали в красных газетах, что она дерется отчаянно? Отчего Талабский полк, более всех других истекавший кровью, так доблестно прикрывал и общее отступление, а в дни Врангеля, год спустя, пробрался поодиночке из разных мест в Польшу к своему вождю и основателю, генералу Пермикину, чтобы снова стать под его водительство? Да только потому, что каждый стрелок в ней, каждый конник, каждый наводчик, каждый автомобилист шел освобождать сознательно родину. Совсем забыты были у них разность интересов и отдаленность губерний Псковской и Тамбовской. Оттого-то их с теплой душой встречало и с терпкой печально провожало крестьянство, которое безупречно служило им в качестве возчиков, проводников и добрых хозяев. Оттого-то белый солдат и мог свободно проявлять самое важное во всякой и самое драгоценное в гражданской войне качество – личную инициативу.

Еще говорили об отсутствии единой главноначальствующей воли и указывали на это, как на причину отсутствия ответственности у должностных лиц, которые не хотели отбросить самостоятельных партизанских приемов и руководствовались лишь личными соображениями.

Формальный глава армии существовал. Это был генерал Юденич, доблестный храбрый солдат, честный человек и хороший военачальник. Но из всех русских известных современных полководцев, которые сумели бы мощно овладеть душами, сердцами и волею этой совсем необыкновенной армии, я могу представить себе только генерала Лечицкого. Генерал Юденич только раз показался на театре военных действий, а именно тотчас же по взятии Гатчины. Побывал в ней, навестил Царское Село, Красное и в тот же день отбыл в Ревель. Конечно, очень ценно было бы в интересах армии, если бы ген. Юденич, находясь в тылу, умел дипломатично воздействовать на англичан и эстонцев, добываясь от них обещанной реальной помощи.

Но по натуре храбрый покоритель Эрзерума был в душе – капитан Тушин, так славно изображенный Толстым. Он не умел с ними разговаривать, стеснялся перед апломбом англичан и перед общей тайной политикой иностранцев. Надо сказать правду: он раз проявил, несомненно, большое достоинство. Это было в тот день, когда английский генерал Марч (или Гоф?), велев в срок сорока минут составить северо-западному правительству, хотел начать договорный акт параграфом: «Войдя в Петербург и свергнув большевицкую власть, эстонцы,

при помощи северо-западного правительства и его армии, устраивают Россию на демократических началах».

Этой глупости не выдержало закаленное сердце старого воина. Он протестовал так решительно, что бритый англичанин с огромным подбородком должен был сдаться.

Единый вождь в этой особенной войне должен был бы непременно показываться как можно чаще перед этим солдатом. Солдат здесь проявлял сверхъестественную храбрость, неопишное мужество, величайшее терпение, но безмолвно требовал от генерала и офицера высокого примера. В офицерском составе уживались лишь люди чрезмерно высоких боевых качеств. В этой армии нельзя было услышать про офицера таких определений, как храбрый, смелый, отважный, геройский и т. д. Было два определения: «хороший офицер» или изредка: «да, если в руках». Там генералы Родзянко и Пален, оба высоченные гиганты, в светлых шинелях офицерского сукна, с оружием, которое в их руках казалось игрушечным, ходили в атаку, впереди цепей, посылая большевикам оглушительные угрозы. Там Пермикин ездил впереди танка, показывая ему путь, под огнем из бронепоездов, под перекрестной пальбою красных цепей, сидя на светлой серой лошади.

Что же касается того, что военачальники руководились лишь личными соображениями, выходя из общего плана, то вряд ли это верно.

По объявлении похода армия пошла в наступление 7 колоннами, каждая в ином направлении. Неминуемо случилось то, что колонны теряли связь в болотистых и лесных местностях, тем более, что красные, отступая, не только перерезали телеграфные проволоки, но и срубали столбы<sup>19</sup>. Двигались они руководимые каким-то звериным чутьем, птичьим инстинктом, но пришли вовремя и еще при сближении помогали одна другой в атаках энергичной поддержкою. Вот вам и партизанская война.

Был, правда, был один ужасный, прискорбный случай сознательного неповиновения генерала приказу. Я говорю о генерале, офицере генерального штаба Ветренко... О нем после. Но нельзя же на одном несчастном случае строить огульные выводы.

---

<sup>19</sup> *Верстовые столбы* – дорожные знаки, которые ставились на расстоянии одной версты друг от друга на российских дорогах.

## XVI. Лунатики

Состав северо-западников не был постоянным: он имел текучий, меняющийся характер. Во время весеннего налета на форт Красная Горка значительная часть гарнизона перешла без боя на сторону белых, образовался Красногорский полк. Ушли к белым посланные против них вятичи – вот и Вятский полк.

В тот же период двинуло красное командование в тыловой обход белых Семеновский (бывший лейб-гвардии) полк, – «полк внутренней охраны Петрограда», как его называли официально. Станным, загадочным, непонятым было существование Семеновского полка после революции и особенно отношение к нему большевиков. Этот полк, так круто расправившийся с московским восстанием в 1906 году, жил в прежних казармах, по прежнему укладу, нес караульную службу по охране Государственного банка, Казначейства и других верных пунктов и как бы находился под особым покровительством. Зайдя в тыл белых у Выры, он с музыкой перешел в С.-З. Армию, убив сначала своих комиссаров и красных фельдфебелей (один из них застрелился). Полк так и сохранил навсегда свое старинное Петровское имя<sup>20</sup>.

Проходили иногда сквозь состав С.-З. Армии необыкновенные, удивительные части, характера, так сказать, гастрольного. Таков был, например, знаменитый Тульский батальон. О нем до сих пор старые офицеры и солдаты Северного корпуса вспоминают со смехом и с восхищением.

В пору бешеного нажима большевиков на крестьян, когда предавались огню, разрушению и сравнивались с землею (речь Троцкого) целые села и деревни, произошло маленькое чудо. Вооружившись как попало, этот отряд пошел наудалую разыскивать то самое место, где бьют большевиков. Блуждая по лицу земли русской, они, кажется, хотели попасть к Деникину, но попали сначала к Петлюре, потом в Польшу. У Петлюры им «шибко не показалось», поляки их не приняли. Наконец, в Пскове им удалось набрести на настоящих истребителей большевизма. Тут они и остались, поступив в распоряжение Северного корпуса под наименованием Тульского батальона.

Я до сих пор не знаю, никогда не мог добиться: кто из командования считался главным, непосредственным начальником туляков. Дрались они с несравненной, безумной храбростью. Вышибать неприятеля из деревень, брать молниеносной атакой мосты и другие узкие опасные проходы было точно их любимой специальностью. Побежденным они никогда не давали пощады. В крепких, жестких руках из Тульского батальона мог бы выработаться превосходный боевой материал. И надо сказать, что среди офицеров Сев. корпуса было достаточно людей с железной волей. Однако подчинить туляков хотя бы первым, основным началом воинской дисциплины оказалось немислимым. Так они успели озвереть в долгом гуртовом бродяжничестве. Таких грабителей, мародеров, плутов и ослушников свет не видывал. Ни наказания, ни уговоры на них нимало не действовали. Пришлось при основательной чистке С.-З. Армии перед походом на Петербург распрощаться с удивительным Тульским батальоном, т. е., вернее, с его жалкими остатками, ибо большинство туляков погибло в боях. Жили грешно – умерли с честью.

Формировались полки и добавлялись, можно сказать, на ходу. Иногда по составам батальонов можно было проследить историю полка, как историю земли по геологическим наслоениям. Вот, например, знаменитый Талабский полк:

1-й батальон: рыбаки с Талабских островов (Великое озеро, близ Чудского). Это основа и первый кадр.

---

<sup>20</sup> Полк был сформирован Петром I в подмосковном селе Семеновском, откуда и его название.

2-й батальон: старообрядцы и жители подгатчинских сел (вторые – превосходные проводники).

3-й батальон: вятичи и пленные матросы (матросы были первоклассными бойцами).

Во все три батальона в значительном количестве вошла учащаяся молодежь Ямбурга и других ближних мест. Большинство этих юношей не вернулось домой. Погибли.

Да! Великую, кровавую, святую жертву родине принесли русские юноши и даже мальчики на всех фронтах, во всех боях ужасной гражданской войны.

По этому списку можно догадаться о путях полка.

О Талабском полке и о 2-й дивизии, в которую он входил (Островский – 500 штыков; Талабский – 1000; Уральский – 450; Семеновский – 500, и эти числа лишь в начале похода) – о них мне придется упоминать особенно часто. И вовсе не потому, что эти части отличались от других боевыми или легендарными чертами. Нет, все полки С.-З. Армии были выше похвал, и об их подвигах думаешь невольно теперь как о великой сказке. Я порой недоумеваю: почему это никогда не слышно и в газетах нет ничего о вечерах, собраниях или обществе северо-западников? И мне кажется, что эти люди сделали так много непосильного для человека, преодолели в такой громадной мере инстинкт самосохранения, пережили такое сверхъестественное напряжение физических и нравственных сил, что для них тяжким стало воспоминание.

Так лунатик, перешедший ночью по тонкой гибкой дощечке с пятого этажа одного дома на пятый другого, взглянет днем с этой высоты вниз – и у него побледнеет сердце и закружится голова.

Нет, только волей случайности мне удалось больше всего слышать о 2-й дивизии и чаще всего входить в общение с талабчанами. Кроме того, эти части по капризным велениям военной судьбы принуждены были – в наступлении на Петербург, в боях вокруг Гатчины, Красного и Царского и в отступлении – играть, поневоле, ежедневно тяжелую и решительную роль.

Вот вкратце несколько боевых дней 2-й дивизии. Обратите внимание на числа:

9 октября. Конница начинает активные операции. Правофланговый полк дивизии под энергичным руководством своего командира полковника Пермикина на рассвете переходит в наступление в районе оз. Тягерского и решительным ударом занимает ряд неприятельских деревень.

10 октября. Талабский полк развивает достигнутый успех, занимает деревню Хилок, переправляется через Лугу, укрепляется в дер. Гостиатино. Островцы с боем переправляются через Лугу у Реджи. Семеновцы атакуют красных у Собской переправы.

11-го ночью Талабский полк подходит к станц. Волосово, давая возможность белой кавалерии продолжать свою задачу.

12 октября. Талабский полк подлетает к ст. Волосово и с налета опрокидывает находящиеся здесь красные части.

13–16 октября. Полки Островский и Семеновский. Бои в Кикерине, Елизаветиной, у Шпанькова, стычка на гатчинских позициях. Вечером 16-го Талабский полк под Гатчиной.

17 октября. Без остановки в Гатчине полки 2-й дивизии (теперь под начальством генерала Пермикина) опрокидывают и сминают засевшие около города красные отряды и заставы, немедленно идут дальше и занимают позиции Пегтелево – Шаглино.

18 октября. Части дивизии широким фронтом продвигаются к Царскому. Талабский полк к вечеру выбивает из дер. Бугор противника.

19 и 20 октября. Ожесточенные, непрерывные бои около деревни Онтолово. Пермикин отказывается от фронтального движения и предпринимает обходное. Отборные курсанты и личная сотня Троцкого обнаруживают его и встречают пением «Интернационала». Атаки талабцев дважды отбиты. Коммунисты сами пытаются перейти в наступление. Громадную помощь красным оказывают бронепоезда «Ленин», «Троцкий» и «Черномор», свободно маневрировавшие по Варшавской и Балтийской ж.д.; 20-го утром в Гатчину прибыли новые (французские) танки

и спешно отправлены в Онтолово. Однако доблестные талабцы взяли-таки упорно обороняющуюся деревню и заставили красных отступить. К вечеру 20-го бригада 2-й дивизии сбила противника и подошла к Царскому.

21 октября. Бой за обладание Царским. 2-й батальон Талабского полка на рассвете исполняет обходную задачу и неожиданным ударом занимает Царкосельский вокзал.

Итого, тринадцать дней непрерывных боев. Затем следует переброска дивизии на левый фланг для ликвидации прорывов в Кипени и Волосове. Затем арьергардная служба при отступлении. И все – без отдыха. Жутко подумать, на что способен может быть человек!

## XVII. Купол св. Исаакия Далматского

В день вступления Северо-Западной Армии в Гатчину высшее командование дает приказ начальнику III дивизии генералу Ветренко: свернуть немедленно на восток, идти форсированным маршем вдоль ветки, соединяющей Гатчину с Николаевской железной дорогой, и, достигнув ст. Тосно, привести в негодность Николаевскую дорогу, дабы прервать сообщение Москва – Петербург.

Ветренко ослушался прямого приказа. Он продвигается к северу на правом фланге, подпирает слегка наступление Пермикина, затем под прикрытием 2-й армии уклоняется вправо, чтобы занять Павловск. На тревожный телеграфный запрос Штаба он отвечает, что дорога Гатчина – Тосно испорчена дождями, и что Павловск им необходимо занять в целях тактических. Совсем непонятно, почему главнокомандующий не приказал расстрелять Ветренко и не бросил на Тосно другую часть: вернее всего предположить, что под руками не было резервов.

Но упустили время. Троцкий с дьявольской энергией швырял из Москвы эшелон за эшелонами отряды красных курсантов, коммунистов, матросов, сильную артиллерию, башкир... Разведка Талабского полка по распоряжению Пермикина быстро пробралась к Тосно. Но уже было поздно. Подступы к станции были сплошь забаррикадированы красными войсками.

Северо-западники склонны объяснять непростительный поступок Ветренко его героическим и честолюбивым стремлением ворваться первым в Петербург. Сомневаюсь. Офицер Генерального Штаба должен был понимать, что его упущение дало красным возможность усилить свою армию вдвое да еще прекрасным боевым материалом. Более, чем множество других печальных обстоятельств, – его преступление было главной причиной неудачи наступления на Петербург.

Товарищеское мнение смягчало его вину, ибо «мертвые сраму не имут», а Ветренко, по слухам, скончался от тифа. А между тем впоследствии оказалось, что Ветренко не только выздоровел, но с женою и малолетним сыном перешел к большевикам. Таким образом, если даже 18 октября он и не замыслил измены и предательства, то, во всяком случае, его поведение в эту пору явилось для большевиков громадной услугой, а для него самого козырным тузом.

Утром я сидел по делу у бессонного капитана Лаврова. При мне пришел в комендантскую молодой офицер 1-й роты Талабского полка, посланный в штаб с донесением. Он торопился обратно в полк и забежал всего на секундочку пожать руку старому командиру. Он был высокий, рыжеватый, полный, с круглым, потным, безволосым лицом. Глаза его сияли веселым рыжим – нет, даже золотым – светом, и говорил он с таким радостным возбуждением, что на губах у него вскакивали и лопались пузыри.

– Понимаете, г. капитан, Средняя Рогатка... – говорил он, еще задыхаясь от бега, – это на севере к Пулкову. Стрелок мне кричит: «Смотрите, смотрите, г. поручик: Кумпол, Кумпол!» Я смотрю за его пальцем... а солнце только-только стало восходить... Гляжу, батюшки мои, Господи! – действительно блестит купол Исаакия, он, милый, единственный на свете. Здания не видно, а купол так и светит, так и переливается, так и дрожит в воздухе.

– Не ошиблись ли, поручик? – спросил Лавров.

– О! Мне ошибиться, что вы! Я с третьего класса Пажеского знаю его, как родного. Он, он, красавец. Купол святого Исаакия Далматского! Господи, как хорошо!

Он перекрестился. Встал с дивана длинный Лавров. Сделал то же и я.

Весть эта обежала всю Гатчину, как электрический ток. Весь день я только и слышал о куполе св. Исаакия. Какое счастье дает надежда. Ее называют крылатой, и правда от нее расширяется сердце, и душа стремится ввысь, в синее, холодное, осеннее небо.

Свобода! Какое чудесное и влекущее слово! Ходить, ездить, спать, есть, говорить, думать, молиться, работать – все это завтра можно будет делать без идиотского контроля, без выклян-

ченного, унижающего разрешения, без грубого вздорного запрета. И главное – неприкосновенность дома, жилья... Свобода!

После обеда в корпусном штабе был другой офицер, кажется, Семеновского полка. Он рассказывал, что один из белых разъездов, нащупывающий подступы к Петербургу, так забрался вперед, что совсем невдалеке мог видеть арку Нарвских ворот. Позднее другой разъезд обстрелял какой-то из трамваев, в которых Троцкий перебрасывал пачки курсантов на вокзалы.

Быстротечные, краткие дни упоительных надежд! На правом фланге белые пробирались к Пулкову II, где снова могли бы перехватить Николаевскую дорогу. Слева они заняли последовательно: Таицы, Дудергоф, Лигово и докатывались до Дачного, намереваясь начать поиск к Петергофу. Божество удачи было явно на стороне С.-З. Армии.

Красные солдаты сдавались и переходили сотнями. Калечь отправлялась в тыл для обучения строю. Надежные бойцы вливались в состав белых полков и отлично дрались в их рядах. У полководцев, искушенных боевым опытом, есть непостижимый дар узнавать по первому быстрому взору ценного воина, подобно тому, как настоящий знаток лошадей, едва взглянув на коня, узнает безошибочно его возраст, нрав, достоинства и пороки.

Этим даром обладал в особенно высокой степени ген. Пермикин...

Этот необыкновенный человек обладал несомненным и природным военным талантом, который только развился вширь и вглубь от практики трех войн.

Злобности и мстивости не было у белых. Когда приводили пленных, то начальник части спрашивал: «Кто из вас коммунисты?», нередко двое-трое, не задумываясь, громко и как бы с вызывающей гордостью откликались: «Я!» «Отвести в сторону!» – приказывал начальник.

Потом происходил обыск. Случалось, что у некоторых солдат находились коммунистические билеты. Затем коммунистов уводили, и, таким образом, коммунисты в тыл не просачивались.

Многие коммунисты умирали смело. Вот что рассказывал офицер, которому, по наряду, пришлось присутствовать при расстреле двух коммунистов.

– По дороге я остановил конвой и спросил одного из них, красного, волосатого, худого и злющего: «Не хочешь ли помолиться?» Он отрыгнул такую бешеную хулу на Бога, Иисуса Христа и Владычицу Небесную, что мне сделалось противно. А когда я предложил то же самое другому, по одежде матросу, он наклонился к моему уху, насколько ему позволяла веревка, стягивающая сзади его руки, и произнес тихо, с глубоким убеждением: «Все равно Бог не простит нас».

Об этом «все равно Бог не простит...» стоит подумать побольше. Не сквозит ли в нем пламенная, но поруганная вера?

Курсанты дрались отчаянно. Они бросались на белые танки с голыми руками, вцеплялись в них и гибли десятками. Красные вожди обманули их уверениями, что танки поддельные: «дерево-де, выкрашенное под цвет стальной брони». Они же внедряли в солдат ужас к белым, которые, по их словам, не только не дают пощады ни одному пленному, а, напротив, прежде чем казнить, подвергают лютым мукам.

Но и красные солдаты, а впоследствии курсанты и матросы, в день плена, присевши вечером к ротному котлу, не слыша ни брани, ни насмешки от недавних врагов, быстро оттаивали и отрясались от всех мерзостей большевистской пропаганды и от привитых рабских чувств.

– Прохожу я вдоль бивуака, – рассказывал мне один офицер, – вдруг чую, пахнет настоящим табаком, не махоркой. Тяну по запаху, как пойнтер. Смотрю, сидит в кругу незнакомый оборванный солдат и угощает соседей папиросами из бумажного пакета. Спрашиваю: «Откуда табак?» Тот вскочил, видно, прежний еще солдат. «Так что еще утром раздавали паек, ваше благородие».

А один стрелок из рыбаков, не вставая (на отдыхе и за едою стрелки не встают), говорит на чисто талабском языке:

– Он только щидась пересодцы. Есцо сумушаетцы. Ницого парень. Оклемаеццы.

А еще дальше пленный солдат объясняет, что терпеть до слез нельзя, когда белые поют...

Про «Дуню Фомину» услышал, так и потянуло.

– Это тебе не «тырционал»...

Большевики, должно быть, понимают, что песни порою бывают сильнее печатной прокламации. Полковник Ставский отобрал в Елизаветине у пленного комиссара карандашное донесение по начальству.

«Идут густыми колоннами и поют старые песни...»

Пермикин и, конечно, другие военачальники понимали громадное преобладание добра над злом. Пермикин говорил нередко стрелкам:

– Война не страшна ни мне, ни вам. Ужасно то, что братьям довелось убивать братьев. Чем скорее мы ее покончим, тем меньше жертв. Потому забудем усталость. Станем появляться сразу во всех местах. Но жителей не обижать. Пленному первый кусок.

Для большевиков всякий солдат, свой и чужой, – ходячее пушечное мясо. Для нас он, прежде всего, человек, брат и русский.

## XVIII. Отступление

Нет ничего мудрее, вернее и страшнее русской поговорки: «Пришла беда – отворяй ворота».

Божество удачи отвернулось от самоотверженной горсточкой железных людей, составлявших Северо-Западную Армию. Теперь уже не ошибкам полководцев и, подавно, не качеству армии, а лишь стихийному нагромождению ужасных событий можно было приписывать трагическую судьбу.

Наступили холодные дождливые дни и мокрые ночи, черные, как чернила, без единой звезды. По ночам было видно, как за непроницаемую тьмою далее полыхали зарева пожаров и бродили по небу, склоняясь к земле, дымные голубоватые лучи прожекторов. И там же воображение рисовало невидимых бессонных героев и страстотерпцев, совершающих, ради счастья родины, несказуемо великий подвиг.

Тревожные слухи дошли об неудержимом откате армии Деникина. Они оказались роковой правдой.

Англичане, обещавшие подкрепить движение белых на Петербург своим военным флотом, безмолвствуют, и лишь под занавес, когда большевики в безмерно превосходных силах теснят, окружают Белую Армию, и она уже думает об отступлении, лишь тогда перед Красной Горкой появляется английский монитор и выпускает несколько снарядов с такой далекой дистанции, что они никому и ничему вреда не приносят.

Англичане обещали оружие, снаряды, обмундирование и продовольствие. Лучше бы они ничего не обещали!

Ружья, присланные ими, выдержали не более трех выстрелов, после четвертого патрон так крепко заклинивался в дуле, что вытащить его возможно бывало только в мастерской.

Их танки были первейшего типа («Времен войн Филиппа Македонского», – горько острились в армии), постоянно чинились и, пройдя четверть версты, возвращались, хромая, в город. Французские «Бебе» были очень хороши, но командовали ими англичане, которые уверяли, что дело танков лишь производить издали потрясающее моральное впечатление, а не участвовать в бое. В своей армии они этого не посмели бы сказать. Они развращали бездействием и русских офицеров, прикомандированных к танкам. Один Пермикин умел заставлять эти танки продвигаться в гущу боя. Однажды, когда англичане, сидевшие в «Бебе», отказались идти вперед, Пермикин слез с коня и постучался в дверцу. Вышел высокий белокурый офицер в английском военном платье. Пермикин поглядел на него внимательно и спросил:

– Кто вы?

Тот отвечал по-английски:

– Офицер британской армии.

Пермикин гневно повысил голос.

– Я спрашиваю: какой нации?

– Русский, ваше пр-ство.

– Так передайте англичанам, что если ровно через три минуты танк не двинется вперед, то я вас всех расстреляю.

Танк двинулся.

Англичане присылали аэропланы, но к ним прикладывали неподходящие пропеллеры; пулеметы – и к ним несоответствующие ленты; орудия – и к ним не разрывающиеся шрапнели и гранаты. Однажды они прислали 36 грузовых паровозных мест. Оказалось – фехтовальные принадлежности: рапиры, нагрудники, маски, перчатки. Спрашиваемые впоследствии англичане с бледными улыбками говорили, что во всем виноваты рабочие социалисты, которые-де не позволяют грузить материалы для борьбы, угрожающей братьям-большевикам.

Англичане обещали американское продовольствие для армии и для петербургского населения, обещали добавочный комплект американского обмундирования и белья на случай увеличения армии новыми бойцами, переходящими от большевиков. И действительно, эти обещания они сдержали. Ревельские склады, интендантские магазины, портовые амбары ломались от американского хлеба, сала, свинины, белья и одежды; все эти запасы служили предметом бешеной тыловой спекуляции и растрат. В Белую Армию одновременно влилось около 20 000 красных солдат и жителей-добровольцев, но все были разуты, раздеты и безоружны. К тому же их вскоре нечем стало кормить. А английский представитель в Ревеле Мерч (или Гоф?) уже сносился по телефону с петербургскими большевиками.

Несмотря на то, что железнодорожный мост через Нарву, разрушенный большевиками, был восстановлен в середине наступления, продовольствие просачивалось тоненькой струйкой, по капельке. Не только жителям пригородов невозможно было дать обещанного хлеба – кадровый состав армии недоедал. На требование провианта из тыла отвечали: продовольствие предназначено для жителей Петербурга после его очищения от большевиков, и мы не смеем его трогать; изыскивайте местные средства. Удивительная рекомендация: снимать одежду с голого.

Лучше бы англичане совсем не обещали, чем дать обещание и не исполнить его. Голодного не насытит хлеб из папье-маше; жаждущего не напоить морской водой.

С.-З. правительство было бессильно. Из него вскоре после его основания вышли покойный ныне В.Д. Кузьмин-Караваев, А.В. Карташев и М.Н. Суворов, возмущенные обращением англичан Мерча и Гофа с русскими людьми и русскими интересами. В 1920 году они втроем выпустили брошюру о С.-З. правительстве, которую, несмотря на ее деловую сухость, ни один русский не может читать без волнения и гнева. Но авторы ее не могли сказать всего, до конца. В послесловии они упоминают, что многих вещей им в теперешние дни нельзя писать, но что они непременно вернуться к ним при других обстоятельствах. Так и не вернулись.

После этого ухода состав С.-З. правительства оказался ничтожным. Но остался в нем до конца событий один человек, принимавший горячо и близко к сердцу тяжелую судьбу армии, а также боли, нужды и лишения беженцев. Это – С.Г. Лианозов. Спокойствие его, выдержанность и независимость умели пробивать эгоистическое равнодушие англичан, и за все, что он сделал тогда для русских, – глубокая ему признательность.

С.-З. Армия изнуряется и тает в бесчисленных боях. Все резервы пущены в дело. Инициатива переходит в руки красных. Дивизия генерала Дзерюжинского – последний ресурс – подкрепляет правый фланг фронта, но большевики делают на левом прорыв наших войск у Кипени. Ликвидация прорыва поручается генералу Пермикину.

Он с Талабским и Семеновским полками спешно перебрасывается с правого на левый фланг. Он присоединяет к себе в ударную группу еще два полка и два французских танка «Бебе», только что привезенных из Финляндии. Перед вечером (27-го) занимает Первелево, вечером того же дня комбинированным обходом занимает Кипень и шлет в Витино вслед обходной колонны большевиков Конноегерский полк. Затем бои в Красково, Сокули, Волковицы. Приходит на помощь Родзянко с танковым десантным батальоном и со своей личной сотней. Удивительный был воин Родзянко. Он как будто бы после момента, когда Юденич перенял у него главнокомандование, нигде не состоял и никому не подчинялся. Но едва стоило какой-нибудь части, исполнявшей почти несбыточное назначение, очутиться в тяжелом положении, он каким-то чудом являлся на помощь со своей сотней и с прихваченными по пути вспомогательными средствами. Правда, был он по натуре великолепный всадник.

Далее идут Малково, шоссе Кипень – Гатчина, Ропша, куда Пермикин врывается на плечах большевиков и захватывает грузовик, орудия и 400 пленных. Затем Высоцкое и Высокая. Генерал Пермикин надеется занять к утру Красное. Но вдруг несчастные события на правом

фланге заставляют штаб дать Пермикину распоряжение прекратить всякие операции против Красного Села и принять участие в общем отступлении.

Пермикин телеграфировал главнокомандованию: «Передо мной свободная дорога на Петербург. Войду без препятствий». Второй приказ из штаба, и разъяренный лев подчиняется.

Талабский полк покидает Гатчину после всех. Он обеспечивает мелкими, но частыми арьергардными атаками отступление армии и великого множества беженцев из питерских пригородов. Наступает зима. У Нарвы русские полки не пропускаются за проволочное ограждение эстонцами. Люди кучами замерзают в эту ночь. Потом Нарва, Ревель и бараки, заваленные русскими воинами, умирающими от тифов. В бараках солдаты служили офицерам и офицеры солдатам. Но это уже не моя тема.

Я только склоняю почтительно голову перед героями всех добровольческих армий и отрядов, полагавших бескорыстно и самоотверженно душу свою за други своя.

## Ю-ю

Если уж слушать, Ника, то слушай внимательно. Такой уговор. Оставь, милая девочка, в покое скатерть и не заплетай бахрому в косички...

Звали ее Ю-ю. Не в честь какого-нибудь китайского мандарина Ю-ю и не в память папирос Ю-ю, а просто так. Увидев ее впервые маленьким котенком, молодой человек трех лет вытаращил глаза от удивления, вытянул губы трубочкой и произнес: «Ю-ю». Точно свистнул. И пошло – Ю-ю.

Сначала это был только пушистый комок с двумя веселыми глазами и бело-розовым носиком. Дремал этот комок на подоконнике, на солнце; лакал, жмурясь и мурлыча, молоко из блюдечка; ловил лапой мух на окне; катался по полу, играя бумажкой, клубком ниток, собственным хвостом... И мы сами не помним, когда это вдруг вместо черно-рыже-белого пушистого комка мы увидели большую, стройную, гордую кошку, первую красавицу и предмет зависти любителей...

Ника, вынь указательный палец изо рта. Ты уже большая. Через восемь лет – невеста. Ну что, если тебе навяжется эта гадкая привычка? Приедет из-за моря великолепный принц, станет свататься, а ты вдруг – палец в рот! Вздохнет принц тяжело и уедет прочь искать другую невесту. Только ты и увидишь издали его золотую карету с зеркальными стеклами... да пыль от колес и копыт...

Выросла, словом, всем кошкам кошка. Темно-каштановая с огненными пятнами, на груди пышная белая манишка, усы в четверть аршина, шерсть длинная и вся лоснится, задние лапки в широких штанинах, хвост как ламповый ерш!..

Ника, спусти с колеи Бобика. Неужели ты думаешь, что щенячье ухо это вроде ручки от шарманки? Если бы так тебя кто-нибудь крутил за ухо? Брось, иначе не буду рассказывать...

Вот так. А самое замечательное в ней было – это ее характер. Ты заметь, милая Ника: живем мы рядом со многими животными и совсем о них ничего не знаем. Просто – не интересуемся. Возьмем, например, всех собак, которых мы с тобой знали. У каждой – своя особенная душа, свои привычки, свой характер. То же у кошек. То же у лошадей. И у птиц. Совсем как у людей...

Ну, скажи, видала ли ты когда-нибудь еще такую непоседу и егозу, как ты, Ника? Зачем ты нажимаешь мизинцем на веко? Тебе кажутся две лампы? И они то съезжаются, то разъезжаются? Никогда не трогай глаз руками...

И никогда не верь тому, что тебе говорят дурного о животных. Тебе скажут: осел глуп. Когда человеку хотят намекнуть, что он недалек умом, упрям и ленив, – его деликатно называют ослом. Запомни же, что, наоборот, осел – животное не только умное, но и послушное, и приветливое, и трудолюбивое. Но если его перегрузить свыше его сил или вообразить, что он скаковая лошадь, то он просто останавливается и говорит: «Этого я не могу. Делай со мной что хочешь». И можно бить его сколько угодно – он не тронется с места. Желал бы я знать, кто в этом случае глупее и упрямее: осел или человек? Лошадь – совсем другое дело. Она нетерпелива, нервна и обидчива. Она сделает даже то, что превышает ее силы, и тут же подохнет от усердия...

Говорят еще: глуп, как гусь... А умнее этой птицы нет на свете. Гусь знает хозяев по походке. Например, возвращаешься домой среди ночи. Идешь по улице, отворяешь калитку, проходишь по двору – гуси молчат, точно их нет. А незнакомый вошел во двор – сейчас же гусиный переполох: «Га-га-га! Га-га-га! Кто это шляется по чужим домам?»

А какие они... Ника, не жуй бумагу. Выплюнь... А какие они славные отцы и матери, если бы ты знала. Птенцов высиживают поочередно – то самка, то самец. Гусь даже добросовестнее гусыни. Если она в свой досужный час заговорится через меру с соседками у водопойного

корыта, по женскому обыкновению, – господин гусь выйдет, возьмет ее клювом за затылок и вежливо потащит домой, ко гнезду, к материнским обязанностям. Вот как-с!

И очень смешно, когда гусяное семейство изволит прогуливаться. Впереди он, хозяин и защитник. От важности и гордости клюв задрал к небу. На весь птичник глядит свысока. Но беда неопытной собаке или легкомысленной девочке, вроде тебя, Ника, если вы ему не уступите дороги: сейчас же зазмеит над землею, зашипит, как бутылка содовой воды, разинет жесткий клюв, а назавтра Ника ходит с огромным синяком на левой ноге, ниже колена, а собачка все трясет ущемленным ухом.

А за гусем – гусенята, желто-зеленые, как пушок на цветущем вербном барашке. Жмутся друг к дружке и пищат. Шеи у них голенькие, на ногах они не тверды – не веришь тому, что вырастут и станут как папаша. Маменька – сзади. Ну, ее просто описать невозможно – такое вся она блаженство, такое торжество! «Пусть весь мир смотрит и удивляется, какой у меня замечательный муж и какие великолепные дети. Я хоть и мать, и жена, но должна сказать правду: лучше на свете не сыщешь». И уж переваливается с боку на бок, уж переваливается... И вся семья гусяная – точь-в-точь как добрая немецкая фамилия на праздничной прогулке.

И отметь еще одно, Ника: реже всего попадают под автомобили гуси и собачки таксы, похожие на крокодилов, а кто из них на вид неуклюжее, – трудно даже решить.

Или, возьмем, лошадь. Что про нее говорят? Лошадь глупа. У нее только красота, способность к быстрому бегу да память мест. А так – дура дурой, кроме того еще, что близорука, капризна, мнительна и непривязчива к человеку. Но этот вздор говорят люди, которые держат лошадь в темных конюшнях, которые не знают радости воспитать ее с жеребьячьего возраста, которые никогда не чувствовали, как лошадь благодарна тому, кто ее моет, чистит, водит коваться, поит и задает корм. У такого человека на уме только одно: сесть на лошадь верхом и бояться, как бы она его не лягнула, не куснула, не сбросила. В голову ему не придет освежить лошади рот, воспользоваться в пути более мягкой дорожкой, вовремя попить умеренно, покрыть попонкой или своим пальто на стоянке... За что же лошадь будет его уважать, спрашиваю я тебя?

А ты лучше спроси у любого природного всадника о лошади, и он тебе всегда ответит: умнее, добрее, благороднее лошади нет никого, – конечно, если только она в хороших, понижающих руках.

У арабов – лучшие, какие только ни на есть, лошади. Но там лошадь – член семьи. Там на нее, как на самую верную няньку, оставляют малых детей. Уж будь спокойна, Ника, такая лошадь и скорпиона раздавит копытом, и дикого зверя залягает. А если чумазый ребяенок уползет на четвереньках куда-нибудь в колючие кусты, где змеи, лошадь возьмет его нежненько за ворот рубашонки или за штанишки и оттащит к шатру: «Не лазай, дурачок, куда не следует».

И умирают иногда лошади в тоске по хозяину, и плачут настоящими слезами.

А вот как запорожские казаки пели о лошади и об убитом хозяине. Лежит он мертвый среди поля, а

Вокруг его кобыльчина ходе,  
Хвостом мух отгоняв,  
В очи ему заглядае,  
Пырська ему в лице.

Ну-ка? Кто из них прав? Воскресный всадник или природный?..

Ах, ты все-таки не позабыла про кошку? Хорошо, возвращаюсь к ней. И, правда: мой рассказ почти исчез в предисловии. Так, в Древней Греции был крошечный городишко с огромнейшими городскими воротами. По этому поводу какой-то прохожий однажды пошутил: смотрите бдительно, граждане, за вашим городом, а то он, пожалуй, ускользнет в эти ворота.

А жаль. Я бы хотел тебе рассказать еще о многих вещах: о том, как чистоплотны и умны оклеветанные свиньи, как вороны на пять способов обманывают цепную собаку, чтобы отнять у нее кость, как верблюды... Ну, ладно, долой верблюдов, давай о кошке.

Спала Ю-ю в доме, где хотела: на диванах, на коврах, на стульях, на пианино сверх нотных тетрадок. Очень любила лежать на газетах, подползши под верхний лист: в типографской краске есть что-то лакомое для кошачьего обоняния, а кроме того, бумага отлично хранит тепло.

Когда дом начинал просыпаться, – первый ее деловой визит бывал всегда ко мне и то лишь после того, как ее чуткое ухо улавливало утренний чистый детский голосок, раздававшийся в комнате рядом со мною.

Ю-ю открывала мордочкой и лапками неплотно затворяемую дверь, входила, вспрыгивала на постель, тыкала мне в руку или в щеку розовый нос и говорила коротко: «Муррм».

За всю свою жизнь она ни разу не мяукнула, а произносила только этот довольно музыкальный звук «муррм». Но было в нем много разнообразных оттенков, выражавших то ласку, то тревогу, то требование, то отказ, то благодарность, то досаду, то укор. Короткое «муррм» всегда означало: «Иди за мной».

Она спрыгивала на пол и, не оглядываясь, шла к двери. Она не сомневалась в моем повиновении.

Я слушался. Одевался наскоро, выходил в темноватый коридор. Блестя желто-зелеными хризолитами глаз, Ю-ю дожидалась меня у двери, ведущей в комнату, где обычно спал четырехлетний молодой человек со своей матерью. Я приотворял ее. Чуть слышное признательное «мрм», S-образное движение ловкого тела, зигзаг пушистого хвоста, и Ю-ю скользнула в детскую.

Там – обряд утреннего здраванья. Сначала – почти официальный долг почтения – прыжок на постель к матери. «Муррм! Здравствуйте, хозяйка!» Носиком в руку, носиком в щеку, и кончено; потом прыжок на пол, прыжок через сетку в детскую кроватку. Встреча с обеих сторон нежная.

«Муррм, муррм! Здравствуй, дружок! Хорошо ли почивал?»

– Ю-юшенька! Юшенька! Восторгательная Юшенька!

И голос с другой кровати:

– Коля, сто раз тебе говорили, не смей целовать кошку! Кошка – рассадник микробов...

Конечно, здесь, за сеткой, вернейшая и нежнейшая дружба. Но все-таки кошки и люди суть только кошки и люди. Разве Ю-ю не знает, что сейчас Катерина принесет сливки и гречневую размазню с маслом? Должно быть, знает.

Ю-ю никогда не попрошайничает. (За услугу благодарит кротко и сердечно.) Но час прихода мальчишки из мясной и его шаги она изучила до тонкости. Если она снаружи, то непременно ждет говядину на крыльце, а если дома – бежит навстречу говядине в кухню. Кухонную дверь она сама открывает с непостижимой ловкостью. В ней не круглая костяная ручка, как в детской, а медная, длинная. Ю-ю с разбегу подпрыгивает и виснет на ручке, обхватив ее передними лапками с обеих сторон, а задними упирается в стену. Два-три толчка всем гибким телом – кляк! – ручка поддалась, и дверь отошла. Дальше – легко.

Бывает, что мальчуган долго копаётся, отрезая и взвешивая. Тогда от нетерпения Ю-ю зацепляется когтями за закраину стола и начинает раскачиваться вперед и назад, как циркач на турнике. Но – молча.

Мальчуган – веселый, румяный, смешливый ротозей. Он страстно любит всех животных, а в Ю-ю прямо влюблен. Но Ю-ю не позволяет ему даже прикоснуться к себе. Надменный взгляд – и прыжок в сторону. Она горда! Она никогда не забывает, что в ее жилах течет голубая кровь от двух ветвей: великой сибирской и державной бухарской. Мальчишка для нее – всего

лишь кто-то, приносящий ей ежедневно мясо. На все, что вне ее дома, вне ее покровительства и благоволения, она смотрит с царственной холодностью. Нас она милостиво приемлет.

Я любил исполнять ее приказания. Вот, например, я работаю над парником, вдумчиво отщипывая у дынь лишние побеги – здесь нужен большой расчет. Жарко от летнего солнца и от теплой земли. Беззвучно подходит Ю-ю.

«Мрум!»

Это значит: «Идите, я хочу пить».

Разгибаюсь с трудом. Ю-ю уже впереди. Ни разу не обернется на меня. Посмею ли я отказаться или замедлить? Она ведет меня из огорода во двор, потом на кухню, затем по коридору в мою комнату. Учтиво отворяю я перед нею все двери и почтительно пропускаю вперед. Придя ко мне, она легко вспрыгивает на умывальник, куда проведена живая вода, ловко находит на мраморных краях три опорных точки для трех лап – четвертая на весу для баланса, – взглядывает на меня через ухо и говорит:

«Мрум. Пустите воду».

Я даю течь тоненькой серебряной струйке. Изящно вытянув шею, Ю-ю поспешно лижет воду узким розовым язычком.

Кошки пьют изредка, но долго и помногу. Иногда для шутового опыта я слегка завинчиваю четырехлапую никелевую рукоятку. Вода идет по капельке.

Ю-ю недовольна. Нетерпеливо переминается в своей неудобной позе, оборачивает ко мне голову. Два желтых топаза смотрят на меня с серьезным укором.

«Муррум! Бросьте ваши глупости!..»

И несколько раз тычет носом в кран.

Мне стыдно. Я прошу прощения. Пускаю воду бежать как следует.

Или еще:

Ю-ю сидит на полу перед оттоманкой; рядом с нею газетный лист. Я вхожу. Останавливаюсь. Ю-ю смотрит на меня пристально неподвижными, немигающими глазами. Я гляжу на нее. Так проходит с минуту. Во взгляде Ю-ю я ясно читаю:

«Вы знаете, что мне нужно, но притворяетесь. Все равно просить я не буду».

Я нагибаюсь поднять газету и тотчас слышу мягкий прыжок. Она уже на оттоманке. Взгляд стал мягче. Делаю из газеты двухскатный шалашик и прикрываю кошку. Наружу – только пушистый хвост, но и он понемногу втягивается, втягивается под бумажную крышу. Два-три раза лист хрустнул, шевельнулся – и конец. Ю-ю спит. Ухожу на цыпочках.

Бывали у меня с Ю-ю особенные часы спокойного семейного счастья. Это тогда, когда я писал по ночам: занятие довольно изнурительное, но если в него втянуться, в нем много тихой отрады.

Царапаешь, царапаешь пером, вдруг не хватает какого-то очень нужного слова. Остановился. Какая тишина! Шипит еле слышно керосин в лампе, шумит морской шум в ушах, и от этого ночь еще тише. И все люди спят, и все звери спят, и лошади, и птицы, и дети, и Колины игрушки в соседней комнате. Даже собаки и те не лают, заснули. Косят глаза, расплываются и пропадают мысли. Где я: в дремучем лесу или на верху высокой башни? И вздрогнешь от мягкого упругого толчка. Это Ю-ю легко вскочила с пола на стол. Совсем неизвестно, когда пришла.

Поворочается немного на столе, помнется, облюбовывая место, и сядет рядышком со мною, у правой руки, пушистым, горбатым в лопатках комком; все четыре лапки подобраны и спрятаны, только две передние бархатные перчаточки чуть-чуть высовываются наружу.

Я опять пишу быстро и с увлечением. Порою, не шевеля головою, брошу быстрый взор на кошку, сидящую ко мне в три четверти. Ее огромный изумрудный глаз пристально устремлен на огонь, а поперек его, сверху вниз, узкая, как лезвие бритвы, черная щелочка зрачка. Но как ни мгновенно движение моих ресниц, Ю-ю успевает поймать его и повернуть ко мне свою

изящную мордочку. Щелочки вдруг превратились в блестящие черные круги, а вокруг них тонкие каемки янтарного цвета. Ладно, Ю-ю, будем писать дальше.

Царапает, царапает перо. Сами собою приходят ладные, уклюжие слова. В послушном разнообразии строятся фразы. Но уже тяжелеет голова, ломит спину, начинают дрожать пальцы правой руки: того и гляди, профессиональная судорога вдруг скорчит их, и перо, как заостренный дротик, полетит через всю комнату. Не пора ли?

И Ю-ю думает, что пора. Она уже давно выдумала развлечение: следит внимательно за строками, вырастающими у меня на бумаге, водит глазами за пером, и притворяется перед самой собою, что это я выпускаю из него маленьких, черных, уродливых мух. И вдруг хлоп лапкой по самой последней мухе. Удар меток и быстр: черная кровь размазана по бумаге. Пойдем спать, Ю-юшка. Пусть мухи тоже поспят до завтра.

За окном уже можно различить мутные очертания милого моего ясеня. Ю-ю сворачивается у меня в ногах, на одеяле.

Заболел Ю-юшкин дружок и мучитель Коля. Ох, жестока была его болезнь; до сих пор страшно вспоминать о ней. Тут только я узнал, как невероятно цепок бывает человек, и какие огромные, не подозреваемые силы он может обнаружить в минуты любви и гибели.

У людей, Ника, существует много прописных истин и ходячих мнений, которые они принимают готовыми и никогда не потрудятся их проверить. Так, тебе, например, из тысячи человек девятьсот девяносто девять скажут: «Кошка – животное эгоистическое. Она привязывается к жилью, а не к человеку». Они не поверят, да и не посмеют поверить тому, что я сейчас расскажу про Ю-ю. Ты, я знаю, Ника, согласишься!

Кошку к больному не пускали. Пожалуй, это и было правильным. Толкнет что-нибудь, уронит, разбудит, испугает. И ее недолго надо было отучать от детской комнаты. Она скоро поняла свое положение. Но зато улеглась, как собака, на голом полу снаружи, у самой двери, уткнув свой розовый носик в щель под дверью, и так пролежала все эти черные дни, отлучаясь только для еды и кратковременной прогулки. Отогнать ее было невозможно. Да и жалко было. Через нее шагали, заходя в детскую и уходя, ее толкали ногами, наступали ей на хвост и на лапки, отшвыривали порою в спешке и нетерпении. Она только пискнет, даст дорогу и опять мягко, но настойчиво возвращается на прежнее место. О таком кошачьем поведении мне до этой поры не приходилось ни слышать, ни читать. На что уж доктора привыкли ничему не удивляться, но даже доктор Шевченко сказал однажды со снисходительной усмешкой:

– Комичный у вас кот. Дежурит! Это курьезно...

Ах, Ника, для меня это вовсе не было ни комично, ни курьезно. До сих пор у меня осталась в сердце нежная признательность к памяти Ю-ю за ее звериное сочувствие...

И вот что еще было странно. Как только в Колиной болезни за последним жестоким кризисом наступил перелом к лучшему, когда ему позволили все есть и даже играть в постели, – кошка каким-то особенно тонким инстинктом поняла, что пустоглазая и безногая отошла от Колина изголовья, защелкав челюстями от злости. Ю-ю оставила свой пост. Долго и бесстыдно отсыпалась она на моей кровати. Но при первом визите к Коле не обнаружила никакого волнения. Тот ее мял и тискал, осыпал ее всякими ласковыми именами, назвал даже от восторга почему-то Юшкевичем! Она же вывернулась ловко из его еще слабых рук, сказала «мрм», спрыгнула на пол и ушла. Какая выдержка, чтобы не сказать: спокойное величие души!..

Дальше, милая моя Ника, я тебе расскажу о таких вещах, которым, пожалуй, и ты не согласишься. Все, кому я это ни рассказывал, слушали меня с улыбкой – немного недоверчивой, немного лукавой, немного принужденно-учливой. Друзья же порою говорили прямо: «Ну и фантазия у вас, у писателей! Право, позавидовать можно. Где же это слыхано и видано, чтобы кошка собиралась говорить по телефону?»

А вот собиралась-таки. Послушай, Ника, как это вышло.

Встал с постели Коля худой, бледный, зеленый; губы без цвета, глаза ввалились, ручки на свет сквозные, чуть розоватые. Но уже говорил я тебе: великая сила и неистощимая – человеческая доброта. Удалось отправить Колю для поправки, в сопровождении матери, верст за двести в прекрасную санаторию. Санатория эта могла соединяться прямым проводом с Петроградом и, при некоторой настойчивости, могла даже вызвать наш дачный городишко, а там и наш домашний телефон. Это все очень скоро сообразила Колина мама, и однажды я с живейшей радостью и даже с чудесным удивлением услышал из трубки милые голоса: сначала женский, немного усталый и деловой, потом бодрый и веселый детский.

Ю-ю с отъездом двух своих друзей – большого и маленького – долго находилась в тревоге и в недоумении. Ходила по комнатам и все тыкалась носом в углы. Ткнется и скажет выразительно: «Мик!» Впервые за наше давнее знакомство я стал слышать у нее это слово. Что оно значило по-кошачьи, я не берусь сказать, но по-человечески оно ясно звучало примерно так: «Что случилось? Где они? Куда пропали?»

И она озиралась на меня широко раскрытыми желто-зелеными глазами; в них я читал изумление и требовательный вопрос.

Жилье она себе выбрала опять на полу, в тесном закутке между моим письменным столом и тахтой. Напрасно я звал ее на мягкое кресло и на диван – она отказывалась, а когда я переносил ее туда на руках, она, посидев с минутку, вежливо спрыгивала и возвращалась в свой темный, жесткий, холодный угол. Странно: почему в дни огорчения она так упорно наказывала самое себя? Не хотела ли она этим примером наказать нас, близких ей людей, которые при всем их всемогуществе не могли или не хотели устранить беды и горя?

Телефонный аппарат наш помещался в крошечной передней на круглом столике, и около него стоял соломенный стул без спинки. Не помню, в какой из моих разговоров с санаторней я застал Ю-ю сидящей у моих ног; знаю только, что это случилось в самом начале. Но вскоре кошка стала прибегать на каждый телефонный звонок и, наконец, совсем перенесла свое место жилья в переднюю.

Люди вообще весьма медленно и тяжело понимают животных; животные – людей гораздо быстрее и тоньше. Я понял Ю-ю очень поздно, лишь тогда, когда однажды среди моего нежного разговора с Колей она беззвучно прыгнула с пола мне на плечи, уравнилась и протянула вперед из-за моей щеки свою пушистую мордочку с настороженными ушами.

Я подумал: «Слух у кошки превосходный, во всяком случае, лучше, чем у собаки, и уж гораздо острее человеческого». Очень часто, когда поздним вечером мы возвращались из гостей, Ю-ю, узнав издали наши шаги, выбегала к нам навстречу за третью перекрестную улицу. Значит, она хорошо знала своих.

И еще. Был у нас знакомый очень непоседливый мальчик Жоржик, четырех лет. Посетив нас в первый раз, он очень досаждал кошке: трепал ее за уши и за хвост, всячески тискал и носился с нею по комнатам, зажав ее поперек живота. Этому она терпеть не могла, хотя по своей всегдашней деликатности ни разу не выпустила когтей. Но зато каждый раз потом, когда приходил Жоржик – будь это через две недели, через месяц и даже больше, – стоило только Ю-ю услышать звонкий голосишко Жоржика, раздававшийся еще на пороге, как она стремглав, с жалобным криком бежала спасаться: летом выпрыгивала в первое отворенное окно, зимою ускользала под диван или под комод. Несомненно, она обладала хорошей памятью.

«Так что же мудреного в том, – думал я, – что она узнала Колин милый голос и потянулась посмотреть: где же спрятан ее любимый дружок?»

Мне очень захотелось проверить мою догадку. В тот же вечер я написал письмо в санаторию с подробным описанием кошачьего поведения и очень просил Колю, чтобы в следующий раз, говоря со мной по телефону, он непременно вспомнил и сказал в трубку все прежние ласковые слова, которые он дома говорил Ю-юшке. А я поднесу контрольную слуховую трубку к кошачьему уху.

Вскоре получил ответ. Коля очень тронут памятью Ю-ю и просит передать ей поклон. Говорить со мною из санатории будет через два дня, а на третий соберутся, уложатся и выедут домой.

И, правда, на другой же день утром телефон сообщил мне, что со мной сейчас будут говорить из санатории. Ю-ю стояла рядом на полу. Я взял ее к себе на колени – иначе мне трудно было бы управляться с двумя трубками. Зазвенел веселый, свежий Колин голосок в деревянном ободке. Какое множество новых впечатлений и знакомств! Сколько домашних вопросов, просьб и распоряжений! Я едва-едва успел вставить мою просьбу:

– Дорогой Коля, я сейчас приставлю Ю-юшке к уху телефонную трубку. Готово! Говори же ей твои приятные слова.

– Какие слова? Я не знаю никаких слов, – скучно отозвался голосок.

– Коля, милый, Ю-ю тебя слушает. Скажи ей что-нибудь ласковое. Поскорее.

– Да я не зна-аю. Я не по-омню. А ты мне купишь наружный домик для птиц, как здесь у нас вешают за окна?

– Ну, Коленька, ну, золотой, ну, добрый мальчик, ты же обещал с Ю-ю поговорить.

– Да я не знаю говорить по-кошкиному. Я не умею. Я забы-ыл.

В трубке вдруг что-то щелкнуло, крякнуло, и из нее раздался резкий голос телефонистки:

– Нельзя говорить глупости. Повесьте трубку. Другие клиенты ждут.

Легкий стук, и телефонное шипение умолкло.

Так и не удался наш с Ю-ю опыт. А жаль. Очень интересно мне было узнать, отзовется ли наша умная кошка или нет на знакомые ей ласковые слова своим нежным «муррум».

Вот и все про Ю-ю.

Не так давно она умерла от старости, и теперь у нас живет кот-воркот, бархатный живот. О нем, милая моя Ника, в другой раз.

## Тень Наполеона

– Как вам сказать, – отчасти вы правы, а отчасти нет. Видите ли: истина, как мне кажется, всегда лежит не в крайностях общественного мнения, а где-то поближе к середине.

Это, конечно, верно, что бывали губернаторы, как будто живьем вытасканные из щедриных «помпадуров». Не отрицаю этого. Однако справедливость никогда не мешает. Можно назвать имена и таких губернаторов, которые в своих так называемых «сатрапиях» делали искренние попытки проявить энергичную творческую деятельность. Не все же екатерининские картонные декорации и бутафорские пейзажи. Но опять-таки скажу, что порою самому прямому и честному губернатору никак нельзя было обойтись без бутафории.

Да, вот скажу про себя самого.

Был я в 1906 году назначен начальником одной из западных губерний.

Нужно сказать, что в ту пору новоиспеченные губернаторы, отправляясь к месту своего служения, не брали с собой ничего, кроме легкого багажа: зубочистка, портсигар и смена белья. Все равно через два-три дня тебя или переведут, или отзовут с причислением к министерству, или прикажут тебе написать прошение об отставке по болезни. Ну, конечно, учитывалась и возможность быть разорванным бомбой террористов... Но бомбы мы уже давно привыкли учитывать, как бытовое явление.

Представьте себе – я ухитрился просидеть на губернаторском кресле с 1906 по 1913 год. Теперь, издали, гляжу на это явление, как на непостижимое чудо, длившееся целых семь лет.

Властью я был облечен почти безграничной. Я – сатрап, я – диктатор, я – конквистадор, я – гроза правосудия... И все-таки не было дня, чтобы я, схватившись за волосы, не готов был кричать о том, что мое положение хуже губернаторского. И только потому не кричал, что сам был губернатором.

Под моим неусыпным надзором и отеческим попечением находились национальности: великорусская, польская, литовская и еврейская; вероисповедания: православное, католическое, лютеранское, униатское и староверческое. Теоретически я должен был обладать полнейшей осведомленностью в отраслях: военных, медицинских, церковных, коммерческих, ветеринарных, сельскохозяйственных, не считая лесоводства, коннозаводства, пожарного искусства и еще тысячи других вещей.

А оттуда, сверху, из Петербурга, с каждой почтой шли предписания, проекты, административные изобретения, маниловские химеры, ноздревские планы. И весь этот чиновничий бред направлялся под мою строжайшую ответственность.

Как у меня все проходило благополучно – не постигаю сам. За семь лет не было ни погромов, ни карательной экспедиции, ни покушения. Воистину – божий промысел!

Я здесь был ни при чем. Я только старался быть терпеливым. От природы же я – человек хладнокровный, с хорошим здоровьем, не лишенный чувства юмора.

Но вот, теперь о бутафории.

Настал 1912 год, и, стало быть, на двадцать шестое августа приходилась столетняя годовщина славного Бородинского боя.

Нам, губернаторам, было уже заранее известно, что в высших сферах решили праздновать этот великий день на месте сражения и с наипушим торжеством.

Это было еще ничего и даже скорее возвышенно и патриотично. Но я знал, что там, наверху, всегда обязательно перестараятся. Так оно и случилось.

Какой-то быстрый государственный ум подал внезапную мысль: собрать на бородинских позициях возможно большее количество ветеранов, принимавших участие в приснопамятном сражении, а также просто древних старожиллов, которые имели случай видеть Наполеона.

Проект этот был, во всяком случае, не хуже и не лучше такого, например, проекта, как завести ананасные плантации в Костромской губернии. Известно, бумага все терпит. Ведь бородинскому ветерану-то надлежало бы иметь, по крайней мере, сто двадцать лет. Однако в Петербурге выдумка эта была принята с живейшим удовольствием.

Вот по этому-то поводу и приехал ко мне однажды генерал Ренненкампф, тот самый знаменитый курляндский вождь исторического рейда во время японской кампании. Огненный взгляд, звенящие шпоры, быстрая лаконическая речь, вспыльчивость и – рыцарь перед дамами.

– Ваше превосходительство, – сказал он мне, – я объездил всю Ковенскую губернию, показывали мне этих Мафусаилов – и, черт! – ни один никуда не годится! Или врут, как лошади, или ничего не помнят, черти! Но как же, черт возьми, мне без них быть. Ведь для них же – черт! – уже медали чеканятся на монетном дворе! Сделайте милость, ваше превосходительство, выручайте! На вас одного надежда. Ведь в вашей Сморгони Наполеон пробыл несколько дней. Может быть, на ваше счастье, найдутся здесь два-три таких глубоких – черт! – старца, которые еще, черт бы их побрал, сохранили хоть маленький остаток памяти. Вовеки вашей услуги не забуду!

Я как администратор не мог ему не посочувствовать. Заявил:

– Ваше превосходительство, Павел Карлович, от души вхожу в ваше положение. Даю слово: сделаю все, что смогу. Кстати, есть у меня один такой исправник, для которого, кажется, не существует ничего невозможного.

Генерал обрадовался, жал мне руки, разливался в признательности.

– Теперь я за вами как за каменной горой. А исправнику скажите, что я его из памяти не выброшу.

Проводив Ренненкампфа, вызвал я к себе исправника, по фамилии Каракаци. Он вовсе не был греком, как можно было бы судить по его фамилии. Не без гордости любил он рассказывать, что по отцу происходит от албанских князей, а по матери сродни монашеским Гримальди. И, правда, было в нем что-то разбойничье.

Житейский лист его был очень ординарен. Гвардейская кавалерия. Долги. Армейская кавалерия. Карты. Таможенная стража. Скандал. Жандармский корпус. Провалился на экзамене. Последний этап – уездный исправник.

И обладал он стремительностью в шестьсот лошадиных сил. И такой же изобретательностью.

Передал я ему мой разговор с генералом. Он весь как боевой конь.

– Ваше превосходительство, для вас хоть из-под земли вырою. Не извольте беспокоиться. Самых замечательных стариканов доставлю. Они у меня не только Наполеона, а самого Петра Великого вспомнят!

– Нет уж, – говорю ему, – вы уж лучше без лишнего усердия. Довольно нам будет и Наполеона.

– Слушаю, ваше превосходительство! И улетел.

Всегда казалось, что он не ходит и не ездит, а летает. Такой он был быстрокрылый.

А через полмесяца получаю я от Ренненкампфа телеграмму лаконическую, в его характере, только без обычных «чертей»:

«Спасибо. Старик конфета. Приезжайте. Жму».

Последнее слово должно было, вероятно, означать «жду», но телеграфист перепутал.

Я поехал, прихватив с собой на всякий случай Каракаци.

Ах! Одна эта поездка в сопровождении чудотворного исправника составила бы толстый юмористический сборник.

Например. Подъехали мы к какой-то речонке, к месту, где должен был находиться паром. Но речонка разлилась, паром сорвало и снесло по течению. И путь наш был прерван на неопределенное время.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.